

БОЛЬШИЕ КНИГИ

Генрик  
Сенкевич

ОГНЕМ  
И МЕЧОМ

«ИНОСТРАНКА»

Иностранная литература. Большие книги

Генрик Сенкевич

**Огнем и мечом**

«Азбука»

1886

УДК 821.162.1  
ББК 84(4Пол)-44

**Сенкевич Г.**

Огнем и мечом / Г. Сенкевич — «Азбука»,  
1886 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-26975-0

Классик польской литературы, почетный академик Петербургской академии наук, Генрик Сенкевич был блистательным историческим романистом. Подобно Гюго, Дюма, Толстому, он сумел описать великие события минувших эпох, уделив внимание и личности человека – творца этих событий. В 1905 году Сенкевичу была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «За выдающиеся заслуги в области эпоса». Роман «Огнем и мечом» рассказывает о драматических событиях XVII века, происходивших на Украине, в годы всенародного восстания под началом Богдана Хмельницкого, которое привело к воссоединению Украины и России. Это увлекательный рассказ о суровых временах, о смелых людях, ярких характерах, исключительных судьбах. В настоящем издании впервые в России текст романа сопровождается блестящими иллюстрациями чешского художника Венцеслава Черны.

УДК 821.162.1  
ББК 84(4Пол)-44

ISBN 978-5-389-26975-0

© Сенкевич Г., 1886  
© Азбука, 1886

# Содержание

Часть первая	8
Глава I	8
Глава II	17
Глава III	28
Глава IV	42
Глава V	55
Конец ознакомительного фрагмента.	65

# Генрик Сенкевич

## Огнем и мечом

© К. Я. Старосельская (наследник), перевод, 2024  
© А. И. Эппель (наследник), перевод, 2024  
© Б. Ф. Стахеев (наследник), послесловие, примечания, 2024  
© Издание на русском языке, оформление  
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019  
Издательство Иностранка®

\* \* \*

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Генрик Сенкевич

ОГНЕМ  
И МЕЧОМ



Издательство «Иностранка»  
МОСКВА

## Часть первая

### Глава I

Год 1647 был год особенный, ибо многообразные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями.

Тогдашние хронисты сообщают, что весной, выплотившись в невиданном множестве из Дикого Поля, саранча поела посевы и травы, а это предвещало татарские набеги. Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах. Над Варшавою являлись во облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось поститься и раздавали подаяние, ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий. Ко всему еще и зима наступила столь мягкая, какой и старики не упомнят. В южных воеводствах реки вообще не сковало льдом, и, каждодневно питаемые снегом, тающим с утра, они вышли из берегов и позаливали поймы. Часто шли дожди. Степь размокла и сделалась большою лужею, солнце же в полдни припекало так, что – диво дивное! – в воеводстве Брацлавском и на Диком Поле луга и степь зазеленели уже к середине декабря. Рои на пасаках колотились и гудели, а по дворам мычала скотина. Поскольку ход природы вовсе, казалось, повернул вспять, все на Руси, ожидая небывалых событий, обращались тревожной мыслью и взором к Дикому Полю, так как беда могла прийти, скорее всего, оттуда.

На Поле же ничего примечательного не происходило. Никаких особых побоищ или стычек, кроме привычных и всегдашних, не случалось, а об этих ведали разве что орлы, вороны, ястребы и полевой зверь.

Уж таким оно, это Поле, было. Последние признаки оседлой жизни к югу по Днепру обрывались вскоре за Чигирином, а по Днестру – сразу за Уманью; далее же – до самых до лиманов и до моря – только степь, как бы двумя реками окаймленная. В днепровской излучине, на Низовье, кипела еще за порогами казацкая жизнь, но в самом Поле никто не жил, разве что по берегам, точно острова среди моря, кое-где попадались «полянки». Земля, хоть и пустовавшая, принадлежала *de nomine*<sup>1</sup> Речи Посполитой, и Речь Посполитая позволяла на ней татарам пасти скот, но, коль скоро этому противились казаки, пастбища то и дело превращались в поле брани.

Сколько в тех краях битв отгремело, сколько народу полегло – не счесть, не упомнить. Орлы, ястребы и вороны – одни про то и знали, а кто в отдалении слышал плескание крыл и карканье, кто замечал птички водовороты, над одним кружащиеся местом, тот знал, что либо трупы, либо кости непогребенные тут лежат... На людей в травах охотились, словно на волков или сайгаков. Охотился кто хотел. Преступник в дикой степи спасался от закона, вооруженный пастырь стерег стада, рыцарь искал приключений, лихой человек – добычи. Казак – татарина, татарин – казака. Бывало, что и целые дружины стерегли скот от бесчисленных охотников до чужого. Степь, хоть и пустовавшая, вместе с тем была не пустая; тихая, но зловещая; безмятежная, но полная опасностей; дикая Диким Полем, но еще и дикостью душ.

Порою прокатывалась по ней большая война. Тогда волнам подобно плыли татарские чамбулы, казацкие полки, польские или валашские хоругви; по ночам ржание коней вторило волчьему вою, голоса барабанов и медных труб долетали до самого Овидова озера, а то и до моря, а на Черном Шляхе, на Кучманском – тут, можно сказать, просто половодье людское. Рубеж Речи Посполитой стерегли от Каменца и до самого до Днепра заставы и «полянки»,

---

<sup>1</sup> Номинально (*лат.*).

так что, если дороги грозились наводниться пришельцами, об этом узнавали по бесчисленным птичьим стаям, всполошенным чамбулами и устремлявшимся на север. Но татарин – выступи он из Черного Леса или перейди Днестр с валашской стороны – появлялся все-таки в южных воеводствах вместе с птицами.

Однако в зиму ту шумливые птицы не устремлялись к Речи Посполитой. В степи было даже тише обычного. К началу повествования нашего солнце уже садилось, и красноватые лучи его озаряли округу, пустынную совершенно. По северному краю Дикого Поля, по всему Омельнику до самого его устья наизорчайший взгляд не углядел бы ни живой души, ни даже малейшего движения в темном, сохлом и поникшем бурьяне. Солнце теперь только половиною круга своего виднелось над горизонтом. Небо меркло, отчего и степь помалу погружалась в сумрак. На левом берегу, на небольшой возвышенности, скорее похожей на курган, чем на холм, еще виднелись остатки каменной твердыни, поставленной некогда Теодориком Бучацким и разрушенной затем войнами. От руин этих ложились длинные тени. Внизу поблескивали воды широко разлившегося Омельника, в месте том сворачивавшего к Днепру. Но свет все более меркнул и на небе, и на земле. С высоты доносились клики журавлей, тянувших к морю, более же ни один голос безмолвия не нарушал.

Ночь легла на пустыню, а с нею пришло и время духов. По заставам не смыкавшие глаз рыцари рассказывали тогда друг другу, что ночами являются в Диком Поле призраки тех, кто погиб или умер без покаяния напрасной смертью, и кружатся вереницами, в чем не помеха им ни крест, ни храм Господень. Поэтому, когда шнуры, указывавшие полночь, начинали догорать, на заставах по этим несчастным служили заупокойную. Еще рассказывали, будто такие же тени, но всадников, скитаясь по глухим местам, заступают дорогу проезжим, стеная и моля о знаке креста святого. Бывали призраки, пугавшие людей воем. Искушенное ухо издали могло отличить их завывания от волчьих. Еще видали целые воинства теней – эти иногда столь близко подходили к заставам, что часовые трубили *lagum*<sup>2</sup>. Такие случаи предвещали, как правило, немалую войну. Встреча с одиночной тенью тоже не сулила ничего хорошего, но не всегда следовало предполагать недоброе, ибо перед дорожными иногда и живой человек возникал и пропадал, как тень, так что только призраком и мог быть сочтен.

А поскольку над Омельником спустилась ночь, ничего не было удивительного в том, что сразу – возле заброшенной крепости – возник не то дух, не то человек. Луна, как раз выглянувшая из-за Днепра, выбелила пустынную местность, головки репейников и степные дали. Тотчас ниже по течению в степи появились какие-то ночные создания. Мимолетные тучки то и дело застили луну, и облики эти то белелись во тьме, то меркли. Иногда они пропадали вовсе и как бы таяли во мраке. Приближаясь к вершинке, на которой стоял упомянутый всадник, они, то и дело останавливаясь, тихо, осторожно и медленно крались.

В движении этом было что-то пугающее, впрочем, как и во всей степи, с виду такой безмятежной. Ветер порою задувал с Днепра, поднимая печальный шелест в сохлых репьях, клонившихся и трепетавших, точно с перепугу. Но вот поглощенные тенью развалин облики пропали. В бледном сиянии ночи видать было только недвижимого на взгорье всадника.

Однако шелест привлек и его внимание. Подъехав к самому крутояру, он внимательно стал вглядываться в степь. Сразу улегся ветер, шелест умолк, и сделалась тишина мертвая.

Вдруг раздался пронзительный свист. Многие голоса разом и душераздирающе завопили: «Алла! Алла! Иисусе Христе! Спасай! Бей!» Загремели самопалы, красные вспышки разорвали мрак. Конский топот смешался с лязгом железа. Еще какие-то всадники возникли в степи словно из-под земли. Настоящая буря взметнулась в этой только что безмолвной и зловещей пустыне. Потом стоны человеческие стали вторить страшным воплям, и наконец все утихло. Бой закончился.

<sup>2</sup> Тревогу, сигнал к бою (*лат.*).

Надо полагать – в Диком Поле разыгрывалась одна из обычных сцен.

Всадники съехались на взгорье, некоторые спешили, внимательно к чему-то приглядываясь.

Из темноты послышался громкий, повелительный голос:

– Эй там! Высечь огня да запалить!

Тотчас посыпались искры, и сразу вспыхнул сухой очерет с лучиной, каковые путешественный по Дикому Полю всегда возил с собою.

Немедля в землю был воткнут шест с каганцом, и падающий сверху свет резко и ярко осветил десятка полтора людей, склонившихся над кем-то, недвижно распростертым.

Это были воины в красной придворной форме и в волчьих шапках. Один, сидевший на добром коне, по виду командир, спрыгнув на землю, подошел к лежащему и спросил у кого-то:

– Ну что, вахмистр? Живой он или нет?

– Живой, пан наместник, хрипит вот, арканом его придушило.

– Кто таков?

– Не татарин, важный кто-то.

– Оно и слава богу.

Наместник внимательно пригляделся к лежащему человеку.

– По виду гетман, – сказал он.

– И конь у него – аргамак редкостный, какого и у хана нету, – ответил вахмистр. – Да вон его держат!

Поручик поглядел, и лицо его просветлело. Рядом двое солдат держали и вправду отменного скакуна, а тот, прижимая уши и раздувая ноздри, протягивал голову и глядел устранным взглядом на лежащего хозяина.

– Уж конь-то, конечно, наш будет? – поспешил спросить вахмистр.

– А ты, подлая душа, христианина в степи без коня оставить хочешь?

– Так ведь в бою взятый...

Дальнейший разговор был прерван вовсе уж громким хрипением удушенного.

– Влить человеку горелки в глотку! – сказал наместник. – Да пояс на нем распустить.

– Мы что, тут и заночуем?

– Тут и заночуем! Коней расседлать, костер запалить.

Солдаты живо бросились исполнять приказания. Одни стали приводить в чувство и растирать лежащего, другие отправились за очеретом, третьи разостлали для ночлега верблюжьи и медвежьи шкуры.

Наместник, не беспокоясь более о полузадушенном незнакомце, расстегнул пояс и улегся возле костра на бурку. Был он очень молод, сухощав, черноволос и весьма красив; лицо имел худое, а нос – выдающийся, орлиный. Взор наместника пылал бешеной отвагою и задором, но выражение лица при этом не теряло степенности. Значительные усы и давно, как видно, не бритая борода вовсе делали его не по возрасту серьезным.

Тем временем двое солдат стали готовить ужин. Они пристроили на огне заготовленные бараньи четверти, из тороков вытащили несколько дроф, подстреленных днем, несколько куропаток и одного сайгака, которого солдат тут же принялся обдирать. Костер горел, отбрасывая в степь огромный красный круг. Удушенный стал потихоньку приходить в себя.

Какое-то время водил он налитыми кровью глазами по незнакомцам, затем попытался встать. Солдат, прежде разговаривавший с наместником, приподнял лежавшего, подхватив под мышки; другой сунул ему в руки обушок, на который неизвестный тяжело оперся. Лицо его с надувшимися жилами оставалось багровым. Наконец сдавленным голосом он прохрипел первое слово:

– Воды!

Ему дали горелки, которую он пил и пил, и, как видно, не без пользы, потому что, отравившись наконец от фляги, спросил уже более отчетливым голосом:

– У кого это я?

Наместник встал и подошел к нему:

– У тех, кто вашу милость спасением подарили.

– Значит, не вы накиннули аркан?

– Наше дело, милостивый государь, сабля, не аркан. Бесчестишь добрых жолнеров подзрением. А поймали тебя какие-то лихие люди, татарами переодетые. На них, ежели любопытствуешь, можешь поглядеть; вон они, как бараны порезанные, лежат.

И наместник указал рукой на темные тела, лежавшие у подошвы взгорья.

Незнакомец на это сказал:

– Если так – позвольте же мне отдышаться.

Ему подложили войлочную кульбаку, устроившись на которой он погрузился в молчание.

Это был мужчина в расцвете лет, среднего роста, в плечах широкий, почти исполинского телосложения, с поразительными чертами лица. Голову он имел огромную, кожу дряблую, очень загорелую, глаза черные и, точно у татарина, слегка раскосые; узкий рот его обрамляли тонкие усы, по оконечьям расходившиеся широкими кистями. На мощном лице были написаны отвага и высокомерие. Тут совмещалось что-то притягательное и вместе с тем отталкивающее: гетманское достоинство, смешанное с татарской лукавостью, благожелательность и злость.

Отсидевшись несколько времени, он встал и, не поблагодарив, совершенно неожиданно отправился глядеть на убитых.

– Мужлан! – буркнул наместник.

Незнакомец между тем внимательно вглядывался в лицо каждому, качал головою, словно поняв что-то, а затем медленно направился к наместнику, шаря по бокам и машинально ища пояс, за который хотел, как видно, заложить руку.

Не понравилась молодому наместнику таковая значительность в человеке, только что вынудом из петли, поэтому он язвительно сказал:

– Можно подумать, что ты, ваша милость, знакомых ищешь среди этих воров или заупокойную по ним говоришь.

Незнакомец серьезно ответил:

– И не ошибаешься ты, сударь, и ошибаешься; не ошибаешься, потому что искал я знакомых, однако, называя их татями, ошибаешься, ибо это слуги некоего шляхтича, моего соседа.

– Не из одного, видать, колодца берете воду вы с тем соседом.

Странная какая-то усмешка скользнула по тонким губам незнакомца.

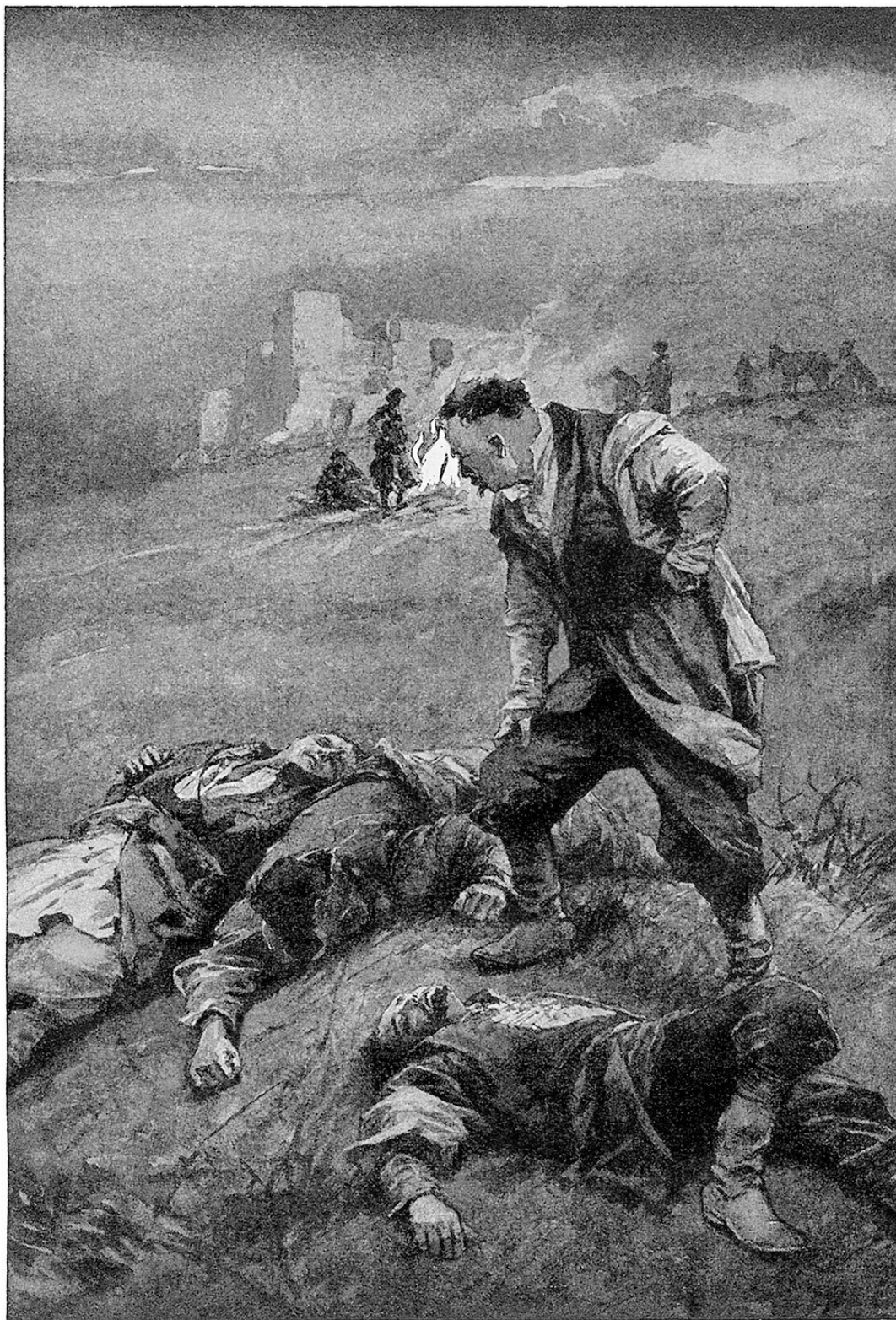
– И в этом ты, сударь, ошибаешься, – пробормотал он сквозь зубы.

Спустя же мгновение добавил погромче:

– Однако прости мне, ваша милость, что я надлежащей не выразил благодарности за *auxilium*<sup>3</sup> и успешное спасение, каковые меня от столь неожиданной смерти упасли. Мужество твое, ваша милость, покрыло неосмотрительность того, кто от людей своих отделился; но благодарность моя самоотверженности твоей не меньше.

---

<sup>3</sup> Помощь (лат.).



*Незнакомец между тем внимательно взглядывался в лицо каждому, качал головою, словно поняв что-то...*

Молвив это, он протянул руку наместнику.

Однако самоуверенный молодой человек даже не пошевелился и своей протягивать не спешил. Зато сказал:

– Нелишне бы сперва узнать, со шляхтичем ли имею честь, ибо хоть и не сомневаюсь в этом, но анонимные благодарности полагаю неуместными.

– Вижу я в тебе, сударь, истинно рыцарские манеры, и полагаешь ты справедливо. Речи мои, да и благодарность тоже, следовало мне предварить именем своим. Что ж! Перед тобою Зиновий Абданк, герба Абданк с малым крестом, шляхтич Киевского воеводства, оседлый и полковник казацкой хоругви князя Доминика Заславского то ж.

– Ян Скшетуский, наместник панцирной хоругви светлейшего князя Иеремии Вишневецкого.

– Под славным началом, сударь, служишь. Прими же теперь благодарность мою и руку.

Наместник более не колебался. Панцирное товарищество хоть и глядело свысока на жолнеров других хоругвей, но сейчас пан Скшетуский находился в степи, в Диком Поле, где таким околичностям придавалось куда меньше значения. К тому же он имел дело с полковником, в чем тотчас же воочию убедился, потому что солдаты, возвращая Абданку пояс и саблю, мешавшие им приводить незнакомца в чувство, подали ему и короткую булаву с костяной рукояткой и яблоком из скользкого рога – обычную регалию казацких полковников. Да и платье на его милости Зиновии Абданке было богато, а умелый разговор обнаруживал живость ума и знание светского обхождения.

Так что пан Скшетуский пригласил его отужинать, поскольку от костра, дразня обоняние и аппетит, потянулся уже запах жареного. Солдат извлек мясо из огня и подал на оловянном блюде. Стали есть, а когда принесен был изрядный мех молдаванского вина, сшитый из козловой шкуры, завязалась и нескучная беседа.

– За наше скорое и благополучное возвращение! – возгласил пан Скшетуский.

– Ты, сударь, возвращаешься? Откуда же, позволь поинтересоваться? – спросил Абданк.

– Издалече. Из самого Крыма.

– Что же ты там делать изволил? Выкуп возил?

– Нет, сударь полковник. К самому хану ездил.

Абданк с любопытством насторожился:

– Однако же в приятной компании побывал! С чем же ты к хану ездил?

– С письмом светлейшего князя Иеремии.

– Так ты в послах был! О чем же его милость князь изволил писать хану?

Наместник быстро глянул на собеседника.

– Сударь полковник, – сказал он, – ты глядел в глаза татям, которые тебя заарканили, и это дело твое; но о чем князь писал хану, это дело не твое и не мое, а их обоих.

– Я было удивился, – хитро заметил Абданк, – что его милость князь столь молодого человека послом к хану отправил, но, услышав твой, сударь, ответ, более не удивляюсь, ибо хоть и молод ты годами, но опытностью и разумом зрел.

Наместник невозмутимо выслушал лестное замечание, покрутил разве что молодой ус и спросил:

– А скажи-ка мне, ваша милость, что подельваешь ты возле Омельника и откуда тут взялся, да еще один?

– А я не один, я людей на дороге оставил, и еду я в Кудак к пану Гродзицкому, командующему тамошним гарнизоном, к каковому меня его милость великий гетман послал с письмами.

– Отчего же ты не поплыл на байдаках?

– Таков был приказ, от коего отступать мне не подобает.

– Странно, и весьма, что его милость гетман так распорядился, ведь в степи-то ты и попал в столь неприятную передрагу; едучи же водою, наверняка избежал бы ее.

– Степи, сударь мой, теперь спокойные, я их знаю хорошо, а приключившееся – это злоба человеческая и *invidia*<sup>4</sup>.

– Кому же ты так не по душе?

– Долго рассказывать. Видишь ли, сударь наместник, сосед подлый у меня; он и мое имение уничтожил, и вотчину оттягать хочет, и сына моего побил. А теперь, как ты сам видел, и на мой живот покусился.

– Да ты, ваша милость, не при сабле разве?

Тяжелое лицо Абданка на мгновение вспыхнуло ненавистью, глаза хмуро загорелись, и он ответил медленно, неторопливо и четко:

– При сабле. И да оставит меня Господь, если отныне я лучшей управы против врагов моих искать стану.

Наместник хотел было что-то сказать, но вдруг из степи донесся конский топот, вернее, торопливое жваканье копыт по размокшей траве.

Сразу и слуга наместника, выставленный караульным, прибежал сообщить, что на подходе какие-то люди.

– Это, наверно, мои, – сказал Абданк. – Я их сразу за Тясмином оставил и, никак не полагая засады, договорился ждать здесь.

Минуты не прошло – и толпа всадников окружила полукольцом взгорье. Костер вырвал из темноты головы коней, раздувавших ноздри и фыркавших от усталости, а над ними – настоженные лица седоков. Прикрывая ладонями от слепившего яркого света глаза, они быстро оглядывали всех, кто был в соседстве костра.

– Гей, люди! Кто вы? – спросил Абданк.

– Рабы божьи! – ответили голоса из темноты.

– Они! Мои молодцы! – подтвердил наместнику Абданк. – А ну-ка сюда!

Несколько всадников спешили и подошли к костру.

– А мы торопились, торопились, *батьку. Що з тобою?*<sup>5</sup>

– В засаду попал. Хведько, иуда, знал место и поджидал тут со своими. Заранее выехал. Аркан на меня накинули!

– Спаси Бог! Спаси Бог! А что же за полячишки тут с тобою?

Говоря это, они недобро поглядывали на Скшетуского и его спутников.

– Это други честные, – сказал Абданк. – Слава богу, цел я и невредим. Сейчас дальше поедем.

– Слава богу! Мы готовы.

Подъехавшие стали греть над огнем руки, так как ночь стояла хоть и ясная, но холодная. Было их человек сорок, причем всё люди рослые и хорошо вооруженные. Они совсем не походили на реестровых казаков, что весьма озадачило пана Скшетуского, особенно еще и потому, что подъехали они в столь немалом количестве. Все это показалось наместнику очень подозрительным. Если бы великий гетман послал его милость Абданка в Кудак, он бы, во-первых, придал ему конвой из реестровых, а во-вторых, зачем бы велел идти до Чигирина степью, а не водой? Ведь переправы через все реки, текущие по Дикому Полю к Днепру, могли только затянуть поездку. Похоже было, что его милость Абданк Кудак-то как раз и хотел миновать.

Да и сама особа Абданка весьма озадачивала молодого наместника. Он сразу же обратил внимание, что казаки, со своими полковниками обращавшиеся без лишних церемоний, этого окружали почтением необычайным, словно какого гетмана. Видать, был он рыцарь первейший, что тем более удивляло пана Скшетуского, ибо, зная Украину по ту и эту сторону Днепра, ни о каком таком знаменитом Абданке он не слыхал. А между тем в обличье мужа сего было

---

<sup>4</sup> Зависть (*лат.*).

<sup>5</sup> Курсивом выделены встречающиеся у Сенкевича украинские слова и фразы.

явно что-то необыкновенное – некая скрытая сила, которою, точно пламя жаром, дышал весь его облик; некая железная воля, свидетельствовавшая, что человек этот ни перед чем и ни перед кем не отступит. Такою же волею исполнен был и облик князя Иеремии Вишневецкого, но то, что у князя было врожденным натуры свойством, присущим высокому происхождению и положению, в муже неизвестного имени, затерявшемся в степной глуши, могло озадачить.

Пан Скшетуский основательно призадумался. То ему приходило в голову, что незнакомец, возможно, какой-то именитый изгнанник, скрывавшийся от приговора в Диком Поле; то – что перед ним вожак разбойной ватаги. Последнее, однако, было неправдоподобно. И платье, и речь этого человека свидетельствовали прямо противоположное. Поэтому наместник, оставаясь все время настороже, не знал, что и думать, а между тем Абданк уж и коня себе подать приказал.

– Сударь наместник, – сказал он, – нам пора. Позволь же еще раз поблагодарить тебя за спасение и дай мне Боже отплатить тебе таковою же услугой!

– Не знал я, кого спасал, оттого и благодарности не заслуживаю.

– Скромность это в тебе говорит, отваге твоей не уступающая. Прими же от меня сей перстень.

Наместник, смерив Абданка взглядом, поморщился и отступил на шаг, а тот, с отцовской прямо-таки торжественностью в манерах и в голосе, продолжал:

– Взгляни же. Не драгоценностью этого перстня, но другими его достоинствами дарю я тебя. Будучи молодых лет и в басурманской неволе, получил я его от богомольца, который из Святой земли возвращался. В камушке оном заключен прах Гроба Господня. От подарка такого отказываться не годится, хоть бы даже он из ослабленных рук воспоследовал. Ты, сударь, человек молодой и солдат, а коль скоро и старость, могиле близкая, не ведает, что с нею перед кончиною случиться может, что же тогда говорить о младости? Имея впереди век долгий, ей с куда большими превратностями суждено столкнуться! Перстень же сей убережет тебя от беды и охранит, когда наступит година судная, а должен я тебе сказать, что година эта уже грядет в Дикое Поле.

Наступило молчание; слышно было только попыхивание костра и конское фырканье.

Из дальних камышей донесся тоскливый волчий вой. Внезапно Абданк сказал как бы сам себе:

– Година судная грядет в Дикое Поле, а когда нагрянет, *здивиться весь світ божий*...

Наместник, озадаченный словами странного мужа, машинально взял перстень.

Абданк же устремил взгляд в степную темную даль, потом не спеша повернулся и сел на коня. Молодцы ждали его у подножия.

– В путь! В путь!.. Оставайся в здравии, друже-жолнер! – сказал он наместнику. – Времена теперь такие, что брат брату не доверяет, оттого ты и не знаешь, кого спас; я ведь имени своего тебе не сказал.

– Ваша милость не Абданк, значит?

– Это мой герб...

– А имя?

– Богдан Зиновий Хмельницкий.

Сказавши это, он съехал по склону. За ним двинулись и молодцы. Вскоре сокрыла их тьма и ночь. И лишь когда отделились они этак на полверсты, ветер принес к костру слова казацкой песни:

Ой, визволи, Боже, нас всіх, бідних невільників,  
З тяжкої неволі,  
З віри басурманської –  
На яснії зорі,

На тихій воді,  
У край веселий,  
У мир хрещений. –  
Вислухай, Боже, у просьбах наших,  
У нещасних молитвах,  
Нас, бідних нивільників.

Голоса помалу стихали, а потім слились с ветерком, шелестевшим в камышах.

## Глава II

Прибыв утром следующего дня в Чигирин, пан Скшетуский стал на постой в доме князя Иеремии, где имел достаточно времени дать людям и коням отдохнуть и отдышаться после долгого из Крыма путешествия, которое по причине высокой воды и необычайно быстрого днепровского течения пришлось проделать по суше, поскольку ни один байдак не мог в ту зиму проплыть вверх по Днепру. Сам Скшетуский сперва тоже малость отдохнул, а потом отправился к пану Зацвилюховскому, бывшему комиссару Речи Посполитой, старому солдату, который, не служа у князя, был тем не менее княжеским наперсником и другом. Наместник намеревался разузнать, не поступало ли из Лубен каких распоряжений. Князь, однако, никаких особых распоряжений не оставлял, а просто велел Скшетускому, в случае если ханский ответ будет благоприятным, не спешить, чтобы людям и коням без нужды не утомляться. К хану же у князя дело было вот какое: он просил наказать нескольких татарских мурз, самовольно учинивших набеги на его заднепровскую державу, которых, к слову сказать, он и сам основательно поколотил. Хан, как и ожидалось, ответил благоприятно – пообещал прислать в апреле особого посла, наказать ослушников, а надеясь заслужить себе благорасположение столь прославленного воителя, послал ему со Скшетуским кровного коня и соболий шлык. Пан Скшетуский, завершив с немалым почетом посольство, само по себе служившее доказательством великого от князя фавору, очень обрадовался, что ему дозволяется в Чигирине пожить и что с возвращением не торопят. Зато старый Зацвилюховский был куда как озабочен событиями, происшедшими с некоторых пор в городе. Оба отправились к Допулу, валаху, державшему в городе корчму и погребок, и там, хотя время было еще раннее, застали без числа шляхты, так как день был базарный, да к тому же на день этот приходился скотопрогонный привал, ибо скот в лагерь коронных войск прогонялся через Чигирин; так что и народу понаехало множество. Шляхта, как всегда, собиралась на базарной площади в так называемом Звонецком Куте у Допула. Были тут и арендаторы Конецпольских, и чигиринские чиновники, и окрестные землевладельцы, сидящие на привилегиях; была шляхта оседлая, ни от кого не зависящая; еще – служащие экономий, кое-кто из казацкой верхушки и, наконец, разная шляхетская мелкота, или на чужих хлебах, или по своим хуторам проживающая.

Все они теснились по лавкам, стоявшим вдоль длинных дубовых столов, и шумно разговаривали, и всё о необычайном происшествии – взбудоражившем город побеге Хмельницкого. Скшетуский с Зацвилюховским сели сам-друг в уголку, и наместник стал расспрашивать, что за птица такая этот Хмельницкий, о котором столько разговоров.

– Неужто, сударь, не знаешь? – удивился старый солдат. – Это писарь Запорожского войска, субботовский барин и... – добавил он тихо, – мой кум. Мы с ним давно знаем и во многих баталиях побывали, в каковых он себя изрядно показал, особенно под Цецорой. Солдата, столь в ратном деле искушенного, во всей Речи Посполитой, пожалуй, не найдешь. Вслух сейчас такого не скажи, но это гетманская голова – человек великой хватки и большого ума; казачество к нему больше, чем к кошевым и атаманам, прислушивается. Он человек не без добрых свойств, однако заносчивый, неумный и, если ненависть им овладеет, страшен сделаться может.

– Зачем же он из Чигирина сбежал?

– Грызлись они со старостишкой Чаплинским, но это пустое! Как водится, шляхтич шляхтича со свету сживал. Не он первый, и не его первого. Еще говорят, что он с женкой старостишкиной путался; староста у него отбил любовницу и на ней женился, а он потом снова баламутил ее. И такое очень даже возможно; дело обыкновенное... бабенка бедовая. Но это только видимость, за которую кое-что поважнее скрывается. Тут, сударь, все обстоит вот как: в Черкассах живет полковник казацкий, престарелый Барабаш, друг нам. У него хра-

нились привилегии и какие-то королевские рескрипты, в которых казаков якобы сопротивляться шляхте склоняли. Но поскольку старик – человек разумный и дельный, он бумагам ходу не давал и обнародовать не спешил. И вот Хмельницкий, Барабаша на угощение сюда, в чигиринский дом свой, пригласив, послал людей на его хутор, чтобы сказанные грамоты да привилегии у жены его захватили, а потом с указами этими сбежал. Подумать страшно, что ими смута какая, вроде остраницовой, воспользоваться может, ибо *pereto*<sup>6</sup>: человек он страшный, а исчез неведомо куда.

Скшетуский удивленно сказал:

– Ну лиса! Вокруг пальца меня обвел. Назвался казацким полковником князя Доминика Заславского. Я же его, нынешней ночью в степи встретив, из удавки вызволил!

Зацвилиховский даже за голову схватился:

– Господи, что ты говоришь, сударь? Такого быть не может!

– Очень даже может, раз было. Он назвался полковником князя Доминика Заславского и сказал, что в Кудак к пану Гродзицкому от великого гетмана послан. Правда, я этому не очень-то и поверил, потому что не водою он шел, а степью.

– Сей человек хитер, как Улисс! Но где же ты его встретил, сударь?

– У Омельника, на правом берегу Днепра. Надо думать, он на Сечь ехал.

– А Кудак решил миновать. Теперь *intelligo*<sup>7</sup>. Людей много было при нем?

– Человек сорок. Да только они поздно подъехали. Когда бы не мои, старостишкина челядь его бы удавила.

– Погоди, сударь, погоди. Это дело важное. Старостишкина челядь, говоришь?

– Ну да. По его словам.

– Откуда же тот знал, где искать, если в городе все голову ломают, куда Хмельницкий подевался?

– Этого я сказать не могу. А может, он солгал, выставив обыкновенных душегубов слугами старостишки, чтобы тем самым еще более обиды свои подчеркнуть?

– Такого быть не может. Однако дело весьма удивительное. А известно ли тебе, сударь, что имеются гетманские указы – Хмельницкого ловить и *in fundo*<sup>8</sup> задерживать?

Наместник не успел ответить, потому что в это мгновение, производя страшный шум, вошел какой-то шляхтич. Хлопнув дверьми и раз, и другой, он спесиво оглядел присутствующих и закричал:

– Всем привет, милостивые государи!

Был этот шляхтич лет сорока, ростом невысокий, с выражением лица запальчивым, чему много способствовали беспокойные и, точно сливы, сидевшие подо лбом глаза. Вошедший был, как видно, непоседлив, буен и скор до гнева.

– Всем привет, милостивые государи! – сразу не получив ответа, повторил шляхтич еще громче и резче.

– Привет, привет! – отозвались несколько голосов.

Это и был Чаплинский, чигиринский подстароста, доверенный слуга молодого пана хорунжего Конецпольского.

В Чигирине подстаросту не любили, поскольку был он первейшим забиякой, буяном и склочником; но, зная о благоволении к нему властей предержавших, кое-кто с человеком этим знался и водился.

---

<sup>6</sup> Повторяю (*лат.*).

<sup>7</sup> Понимаю (*лат.*).

<sup>8</sup> На месте (*лат.*).

Одного лишь Зацвилюховского, как, впрочем, и все остальные, он уважал ввиду добродетелей, основательности и храбрости последнего. Завидев старика, он тотчас подошел и, весьма высокомерно поклонившись Скшетускому, уселся со своим стаканом меда рядом с ними.

– Досточтимый староста, – спросил Зацвилюховский, – не слыхать ли чего о Хмельницком?

– Висит, досточтимый хорунжий, не будь я Чаплинский! А ежели до сей поры не висит, то будет висеть непременно. Теперь, когда есть гетманские указы, дай мне только заполучить его в руки!

Говоря это, он так хватил по столу, что из стаканов выплеснулось содержимое.

– Не проливай, сударь, вина! – сказал Скшетуский.

Зацвилюховский прервал наместника:

– А заполучишь ли ты его? Ведь он сбежал, а куда – никто не ведает.

– Никто не ведает? Я ведаю, не будь я Чаплинский! Ты, господин хорунжий, небось знаешь Хведька. Так этот самый Хведько и ему служит, и мне. И будет он иудую Хмелю. Да чего там много говорить! Стал Хведько водиться с молодцами Хмельницкого. Человек пройдошливый! Все про него узнал! Взясся он доставить мне Хмельницкого живым или мертвым и выехал в степь загодя, зная, где его дожидаться!.. А, чертово семя!

Сказавши это, он снова ударил кулаком по столу.

– Не проливай, сударь, вина! – нажимая на каждое слово, повторил пан Скшетуский, с первого взгляда почувствовавший безотчетную антипатию к подстаросте.

Шляхтич побагровел, сверкнул выкаченными своими глазами, полагая, что ему дают повод, и вызывающе воззрился на Скшетуского, однако, увидев мундир Вишневецких, одумался, ибо, хотя у хорунжего Конецпольского в то время была с князем прях, Чигирин тем не менее находился недалеко от Лубен, и оскорблять княжеских людей было небезопасно. К тому же князь и людей подбирал таких, задирались с которыми следовало подумавши.

– Значит, Хведько взялся Хмельницкого тебе доставить? – снова стал спрашивать Зацвилюховский.

– Именно. И доставит, не будь я Чаплинский.

– А я твоей милости могу сказать: не доставит. Хмельницкий ловушки избежал и на Сечь подался, о чем еще сегодня следует известить краковского пана нашего. С Хмельницким лучше не шутить. Короче говоря, и умом он быстрее, и рука его потяжелее, и удачи у него поболее, чем у твоей, сударь, милости, ибо очень ты в раж входишь. Хмельницкий, повторяю, отбыл в безопасности, а если не веришь, тогда этот кавалер подтвердит, который его в степи вчера видел и, с целым и невредимым, с ним разъехался.

– Не может такого быть! Не может быть! – завизжал, дергая себя за чуб, Чаплинский.

– Более того, – продолжал Зацвилюховский, – кавалер, здесь присутствующий, сам же его и спас, а слуг твоей милости перебил, в чем, несмотря на гетманские указы, не виноват, так как из Крыма с посольством возвращается и про указы не знал; видя же человека, грабителями, как он решил, в степи обижаемого, поспешил ему на помощь. О сказанном спасении Хмельницкого заранее тебя, сударь, предупреждаю, так как он с запорожцами непременно тебя в экономии твоей навестит, и надо полагать, что ты этому не обрадуешься. Слишком уж ты с ним цапался. Тьфу, черти бы вас побрали!

Зацвилюховский тоже не любил Чаплинского.

Чаплинский вскочил и от ярости слова не мог сказать. Лицо его совсем побагровело, а глаза еще сильнее выпучились. Стоя в таком виде перед Скшетуским, он стал бессвязно выкрикивать:

– То есть как? Ты... невзирая на гетманские распоряжения!.. Я те, сударь... Я те, сударь...

А Скшетуский даже и со скамьи не привстал; опершись на локоть, он глядел на наскაკивавшего Чаплинского, как сокол на привязанного воробья, и наконец спросил:

- С чего ты, сударь, ко мне прицепился, точно репей к собачьему хвосту?
- Да я тебя к ответу... Не слушаешься указа... Я вашу милость казаками!..

Подстароста так орал, что шум в погребке несколько утих. Люди стали поворачиваться к Чаплинскому. Он всегда искал ссоры, уж такая это была натура, и с каждым встречным скандалил; но сейчас всех удивило, что разошелся он при Зацвилюховском, которого одного и боялся, а задрался с жолнером, одетым в форму Вишневецких.

- Уймись, сударь, – сказал старый хорунжий. – Сей кавалер пришел со мною.

– Я те... те... тебя в суд... в колодки!.. – продолжал вопить Чаплинский, не обращая ни на что и ни на кого внимания.

Тут уже и пан Скшетуский тоже поднялся во весь свой рост, однако сабли из ножен не вытащил, а, подхватив ее, свисавшую с пояса на двух перевязях, посередке, поднял таким образом, что рукоять с маленьким крестиком подъехала к носу Чаплинского.

- А понюхай-ка это, сударь, – холодно сказал он.
- Бей, кто в Бога верует!.. Люди!.. – крикнул Чаплинский, хватаясь за эфес.

Но своей сабли выхватить не успел. Пан Скшетуский, повернув его на месте, одною рукою схватил за шиворот, другою – пониже спины за шаровары, поднял в воздух и, с рвущимся, точно кубарь, из рук, пошел с ним между скамей к дверям, возглашая:

- Панове-братья, дорогу рогоносцу! Забодает!

Сказавши это, он добрался до дверей, ударил в них Чаплинским, распахнул их таким манером и вышвырнул подстаросту вон.

Затем спокойно вернулся и сел на свое место рядом с Зацвилюховским.

В погребке во мгновение сделалось тихо. Сила, какую только что продемонстрировал Скшетуский, произвела на всю шляхту громадное впечатление. Спустя минуту всё вокруг сотрясалось от смеха.

- Vivant<sup>9</sup> вишневичане! – кричали одни.

– Сомлел, сомлел и в крови весь! – восклицали другие, выглядывавшие на улицу, любопытствуя узнать, что предпримет Чаплинский. – Слуги его поднимают!

---

<sup>9</sup> Да здравствуют (*лат.*).



*Сказавши это, он добрался до дверей, ударил в них Чаплинским, распахнул их таким манером и вышвырнул подстаросту вон.*

Лишь немногие, те, кто считался сторонником подстаросты, молчали и, не решаясь вступить за него, хмуро поглядывали на наместника.

– Только и скажешь, что в пяту гонит эта гончая! – промолвил Зацвилюховский.

– Да какая там гончая? Дворняга! – возгласил, приближаясь, тучный шляхтич с бельмом на глазу, имевший во лбу дырку величиной с талер, в которой посвечивала голая кость. – Дворняга он, не гончая! Позволь, сударь, – продолжал шляхтич, обращаясь к Скшетускому, – быть к твоим услугам. Имя мое – Ян Заглоба. Герб – Вчеле, в чем любой легко может убедиться хоть по этой вот дырке, какую в челе моем разбойная пуля проделала, когда я в Святую землю за грехи молодости по обетованию ходил.

– Имей совесть, ваша милость! – сказал Зацвилиховский. – Ты же рассказывал, что тебе ее в Радоме кружкой пробили.

– Истинный бог, разбойная пуля! В Радоме другая история случилась.

– Давал ты, ваша милость, обет сходить в Святую землю... оно возможно, но что тебя там не было – это наверняка.

– Да! Не было! Ибо в Галате уже страдания мученические принял! Пусть я не шляхтич, пусть я пес паршивый буду, если вру!

– Оно и брешешь, и брешешь.

– Последним прохвостом будучи, предаю себя в руки ваши, сударь наместник.

Тут и другие стали подходить знакомиться с паном Скшетуским и чувства ему свои выражать. Мало кто любил Чаплинского, и все были довольны, что тому такая конфузия приключилась. Сейчас, не поразмыслив и не удивившись, невозможно поверить, что и вся окрестная чигиринская шляхта, и те, кто помельче, – владельцы слобод, наемщики экономий, – чего там! – даже люди Конецпольских – все, как оно по соседству бывает, зная о расправах Чаплинского с Хмельницким, были на стороне последнего, ибо Хмельницкий слыл знаменитым воином, немалые заслуги в разных баталиях снискавшим. Известно было также, что сам король поддерживал с ним отношения и высоко ценил его мнение. Случившееся же воспринимали как обычную свару шляхтича со шляхтичем, а подобные свары исчислялись тысячами, и особенно в землях русских. На сей раз, как всегда, приняли сторону того, кто умел завоевать себе больше симпатий, не загадывая, какие из этого могут проистечь страшные последствия. Лишь много позже сердца запыхали ненавистью к Хмельницкому; причем одинаково сердца шляхты и духовенства обоих обрядов.

Итак, все подходили к Скшетускому с квартами, говоря: «Пей же, пане-брате! Выпей и со мною! Да здравствуют вишневичане! Такой молодой, а уже в поручиках у князя. *Vivat*<sup>10</sup> князь Иеремия, всем гетманам гетман! Куда угодно пойдём с князем Иеремией! На турок и татар! В Стамбул! Да здравствует милостиво царствующий над нами Владислав Четвертый!» Громче всех кричал пан Заглоба, готовый даже в одиночку перепить и перекричать целый регимент.

– Досточтимые господа! – вопил он, так что стекла в окошках звенели.

– Уж я на его милость султана подал в суд за насилие, до которого он допустил произойти со мною в Галате.

– Не городи ты, ваша милость, чушь всякую, язык пожалей!

– То есть как, досточтимые господа? *Quatuor articuli iudicii castrensis: stuprum, incendium, latrocinium et vis armata alienis aedibus illata*<sup>11</sup>. А разве же не было это *vis armata*?<sup>12</sup>

– Чистый глухарь ты, сударь.

– А я и в трибунал его!

– Уймись же, ваша ми...

– И кондеманту получу, и подлецом его оглашу; вот тебе и война, но уже с приговоренным к бесчестию.

– Здоровье ваших милостей!

---

<sup>10</sup> Да здравствует (*лат.*).

<sup>11</sup> Четыре статьи полевого суда: изнасилование, поджог, разбой и нападение вооруженной силой на чужой дом (*лат.*).

<sup>12</sup> Вооруженной силой (*лат.*).

Некоторые, однако, смеялись, а с ними и пан Скшетуский – ему уже малость ударило в голову; шляхтич же и в самом деле, точно глухарь, который собственным голосом упивается, не умолкая, токовал далее. К счастью, тирады его были прерваны другим шляхтичем, который, приблизившись, дернул болтуна за рукав и сказал с певучим литовским выговором:

– Так познакомь же, сударь добрый Заглоба, и меня с паном наместником... Познакомь же!

– Обязательно! Непременно! Позволь, ваша милость наместник, – это господин Сбейнабойка.

– Подбипятка, – поправил шляхтич.

– Один черт! Герба Сорвиштанец.

– Сорвиглавец, – поправил шляхтич.

– Один черт! Из Пёсикишек.

– Из Мышикишек, – поправил шляхтич.

– Один черт. *Nescio*<sup>13</sup>, что бы я предпочел. Мышьи кишки или песьи. Но жить – это уж точно! – ни в каких не желаю, ибо и отсидеться там трудновато, и покидать их конфузно. Ваша милость! – продолжал он объяснять Скшетускому, указывая на литвина, – вот уже неделю пью я на деньги этого шляхтича, у какого за поясом меч столь же тяжеловесный, сколь и кошель, а кошель столь же тяжеловесный, сколь и разум, но если поил меня когда-нибудь больший чудак, пусть я буду таким же болваном, как тот, кто за меня платит.

– Ну, объехал его! – смеясь, кричала шляхта.

Однако литвин не сердился, он только отмахивался, тихо улыбался и повторял:

– От, будет уж вам, ваша милость... *слухать* гадко!

Скшетуский с интересом приглядывался к новому знакомцу, и в самом деле заслуживавшему называться чудачком. Это был мужчина росту столь высокого, что головою почти касался потолочных бревен; небывалая же худоба делала его и вовсе долговязым. Хотя весь он был кожа да кости, широкие плечи и жилистая шея свидетельствовали о необычайной силе. На удивление впалый живот наводил на мысль, что человек этот приехал из голодного края, однако одет он был изрядно – в серую свебодзинского сукна, ладно сидевшую куртку с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, начинавшие на Литве входить в употребление. Широкий и туго набитый лосевый пояс, не имея на чем держаться, сползал на самые бедра, а к поясу был привязан крыжацкий меч, такой длинный, что мужу тому громадному почти до подмышек достигал.

Но испугайся кто меча, тот бы сразу успокоился, взглянув на лицо его владельца. Оно, будучи, как и весь облик этого человека, тощим, украшалось двумя обвисшими бровями и парюю таково же обвислых льняного цвета усищ, однако при этом было столь открыто, столь искренно, словно лицо ребенка. Помянутая обвислость усов и бровей сообщала литвину вид одновременно озабоченный, печальный и потешный. Он казался человеком, которым все помыкают, но Скшетускому понравился с первого взгляда за эту самую открытость лица и ладную воинскую экипировку.

– Пане наместник, – сказал тощий шляхтич, – значит, ваша милость от господина князя Вишневецкого?

– Точно.

Литвин благоговейно сложил руки и возвел очи горе:

– Ах, что за воитель это великий! Что за рыцарь! Что за вождь!

– Дай Боже Речи Посполитой таких побольше.

– Истинно, истинно! А не можно ли под его знамена?

– Он вашей милости рад будет.

Тут в разговор ввязался Заглоба:

---

<sup>13</sup> Не знаю (*лат.*).

– И займет князь два вертела для кухни: один из этого сударя, другой из его меча; а может, наймет вашу милость заплечных дел мастером или повелит на вашей милости разбойников вешать. Нет! Скорее всего, он сукно мундирное станет тобою мерить! Тьфу! Ну как тебе, сударь, не совестно, будучи человеком и католиком, ходить длинным, словно *serpens*<sup>14</sup> или басурманская пика!

– *Слухать* гадко, – терпеливо сказал литвин.

– Как же, сударь, величать вас? – спросил Скшетуский. – Когда вы представились, пан Заглоба так вашу милость подьедал, что я, прошу прощения, ничего не смог разобрать.

– Подбипятка.

– Сбейнабойка.

– Сорвиглавец из Мышкишек.

– Чистая умора! Хоть он мне и вино ставит, но если это не языческие имена, значит я распоследний дурень.

– Давно ваша милость из Литвы?

– Вот уж две недели, как я в Чигирине. А узнавши от пана Зацвилюховского, что ты, сударь, тут проезжать будешь, дожидаюсь, чтобы с твоею протекцией князю просьбу свою представить.

– Но скажи, ваша милость, потому что очень уж мне любопытно, зачем ты этот меч палаческий под мышкой носишь?

– Не палаческий он, сударь наместник, а крыжацкий; а ношу его – ибо трофей и родовая реликвия. Еще под Хойницами служил он в руке литовской – вот и ношу.

– Однако махина нешуточная и тяжела, должно быть, страшно. Разве что оберучь?

– Можно и оберучь, а можно и одною.

– Позволь глянуть!

Литвин вытащил меч и подал Скшетускому, однако у того сразу же повисла от тяжести рука. Ни изготовиться, ни взмахнуть свободно. Двумя еще куда ни шло, но тоже оказалось тяжеловато. Посему пан Скшетуский несколько смешался и обратился к присутствующим:

– Ну, милостивые государи! Кто перекрестится?

– Мы уже пробовали, – ответило несколько голосов. – Одному пану комиссару Зацвилюховскому в подъем, но и он крестное знамение не положит.

– А сам ты, ваша милость? – спросил пан Скшетуский, оборотившись к литвину.

Шляхтич, точно тростинку, поднял меч и раз пятнадцать взмахнул им с величайшей легкостью, аж в корчме воздух зафырчал и ветер прошел по лицам.

– Помогай тебе Бог! – воскликнул Скшетуский. – Всенепременно получишь службу у князя!

– Господь свидетель, что я желаю ее, а меч мой на ней не заржавеет.

– Зато мозги окончательно, – сказал пан Заглоба. – Ибо не умеешь, сударь, таково же и мозгами ворочать.

Зацвилюховский встал, и они с наместником собрались было уходить, как вдруг вошел белый, точно голубь, человек и, увидев Зацвилюховского, сказал:

– Ваша милость хорунжий, а у меня как раз к тебе дело!

Это и был Барабаш, черкасский полковник.

– Пошли тогда на мою квартиру, – ответил Зацвилюховский. – Здесь уже таковой шум, что и слова не расслышишь.

Оба вышли, а с ними и пан Скшетуский. Сразу же за порогом Барабаш спросил:

– Есть известия о Хмельницком?

– Есть. Сбежал на Сечь. Этот офицер видал его вчера в степи.

---

<sup>14</sup> Змея (лат.).

– Значит, не водою поехал? А я гонца в Кудак вчера отправил, чтобы перехватили, и, выходит, зря.

Сказавши это, Барабаш закрыл ладонями лицо и принялся повторять:

– Эй, *спаси Христе! Спаси Христе!*

– Чего ты, сударь, печалишься?

– А знаешь ли ты, что он у меня коварством вырвал? Знаешь, что значит таковые грамоты на Сечи обнародовать? *Спаси Христе!* Если король войны с басурманами не начнет, это же искра в порох...

– Смуту, ваша милость, пророчишь?

– Не пророчу, но вижу ее. А Хмельницкий пострашнее Наливайки и Лободы.

– Да кто же за ним пойдет?

– Кто? Запорожье, реестровые, мешане, чернь, хуторяне и вон – эти!

Полковник Барабаш указал рукою на майдан и снующий там народ. Вся площадь была забита могучими сивыми волами, которых перегоняли в Корсунь для войска, а при волах состоял многочисленный пастуший люд, так называемые чабаны, всю свою жизнь проводившие в степях и пустынях, – люди совершенно дикие и не исповедовавшие никакой религии; *religionis nullius*, как говаривал воевода Кисель. Меж них бросались в глаза фигуры, скорее похожие на душегубов, нежели на пастухов, звероподобные, страшные, в лохмотьях всевозможного платья. Большинство были облачены в бараньи тулупы или в невыделанные шкуры мехом наружу, распахнутые и обнажавшие, хоть пора была и зимняя, голую грудь, обветренную степовыми ветрами. Каждый был вооружен, но самым невероятным оружием: у одних имелись луки и сайдаки, у других – самопалы, по-казацки именуемые «пищали», у третьих – татарские сабли, а у некоторых косы или просто палки с привязанной на конце лошадиной челюстью. Тут же сновали не менее дикие, хотя лучше вооруженные низовые, везущие на продажу в лагерь сушеную рыбу, дичину и баранье сало; еще были чумаки с солью, степные и лесные пасечники да воскобои с медом, боровые поселенцы со смолою и дегтем; еще – крестьяне с подводами, реестровые казаки, белгородские татары и один Бог знает кто еще, какие-то побродяги – *сіромахи* с края света. По всему городу полно было пьяных; на Чигирин как раз приходилась ночевка, а значит, и гульба. По всей площади раскладывали костры, там и тут пылали бочки со смолою. Отовсюду доносились гомон и вопли. Пронзительные голоса татарских дудок и бубнов мешались с ревом скота и с тихогласным звучанием лир, под звон которых слепцы пели любимую тогда песню:

Соколе ясний,  
Брате мій рідний,  
Ти високо літаєш,  
Ти далеко видаєш.

Одновременно с этим раздавалось «Ух-ха! Ух-ха!» – дикие выкрики перемазанных в дегте и совершенно хмельных казаков, пляшущих на майдане трепака. Все вместе выглядело жутко и неукротимо. Зацвилюховскому достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в правоте Барабаша: любой повод мог разбудить эти неудержимые стихии, скорые до грабежа и привычные к стычкам, без счета случавшимся по всей Украине. А за толпами этими была еще Сечь, было Запорожье, пусть с некоторых пор смиренное и после Маслова озера обузданное, но в нетерпении грызущее удила, не забывшее давних привилегий, ненавидящее комиссаров и являвшее собой сплоченную силу. На стороне этой силы были симпатии несчислимого крестьянства, менее терпеливого, чем в других областях Речи Посполитой, поскольку под боком у него был Чертомлык, а на Чертомлыке – безвластие, разбой и воля. Так что пан хорунжий, хотя сам был русином и преданным восточного обряда сторонником, печально задумался.

Человек старый, он хорошо помнил времена Наливайки, Лободы, Кремпского; украинскую вольницу знал на Руси лучше любого другого, а зная еще и Хмельницкого, понимал, что тот стоит двадцати Лобод и Наливаек. Поэтому понял он и всю опасность его на Сечь побега, особенно же с королевскими грамотами, про которые Барабаш рассказывал, что в них содержатся различные посулы казакам и призыв к сопротивлению.

– Господин черкасский полковник! – сказал он Барабашу. – Тебе бы, сударь, следовало на Сечь ехать, влиянию Хмельницкого противустать и умиротворять, умиротворять!

– Сударь хорунжий! – ответил Барабаш. – Я вашей милости сообщу вот что: всего лишь узнав о побеге Хмельницкого с грамотами, половина моих черкасских людей нынешней ночью на Сечь сбежала. Мое время прошло. Мне – могила, не булава!

И действительно, Барабаш был солдат бывалый, но человек старый и влияния не имевший.

За разговором дошли до квартиры Зацвилюховского. Старый хорунжий обрел меж тем в мыслях спокойствие, свойственное его голубиной душе, и, когда все уселись за штофом меду, сказал веселее:

– Все это безделица, ежели война, как поговаривают, с басурманом *praeparatur*<sup>15</sup>, а так оно вроде бы и есть; ибо, хотя Речь Посполитая войны не желает и немало уже сеймы королю крови попортили, король, однако, на своем настоять может. Так что весь этот пыл можно будет повернуть на турка, и – в любом случае – у нас есть время. Я сам поеду изложить дело к краковскому пану нашему и буду просить, чтобы возможно ближе подтянулся к нам с войском. Добьюсь ли чего, не знаю, ибо хотя он повелитель доблестный, а воин опытный, но слишком уж полагается и на свое мнение, и на свое войско. Ты, ваша милость господин черкасский полковник, держи казаков в руках, а ты, ваша милость господин наместник, как прибудешь в Лубны, проси князя, чтобы с Сечи глаз не спускал. Пусть бы там и замыслили что заварить – герето: у нас есть время. На Сечи народу сейчас мало: за рыбой и за зверем все поразбредлись либо по всей Украине в селах сидят. Пока соберутся, много в Днепре воды утечет. Да и княжеское имя страх наводит; а как узнают, что он на Чертомлык поглядывает, может, и будут сидеть тихо.

– Я из Чигирина могу хоть через два дня отправиться, – сказал наместник.

– Вот и хорошо. Два-три дня потерпеть можно. Ты, ваша милость правитель черкасский, пошли гонцов с изложением дела еще и к коронному хорунжему, и ко князю Доминику. Да ты, сударь, уж и заснул, я гляжу!

В самом деле – Барабаш, сложив на животе руки, сладко спал, а спустя некоторое время и похрапывать начал. Старый полковник если не ел и не пил, а оба этих занятия он предпочитал всему остальному, – спал.

– Погляди, сударь мой, – тихо сказал Зацвилюховский наместнику. – И с помощью этого старца варшавские сановники рассчитывают казаков в руках держать. Бог с ними. Они и самому Хмельницкому тоже доверяли; канцлер даже с ним переговоры какие-то вел, а он, похоже, доверие коварством оплатит.

Наместник вздохнул в знак сочувствия старому хорунжему. Барабаш же, громко всхрапнув, пробормотал сквозь сон:

– *Спаси Христе! Спаси Христе!*

– Когда же ты, сударь, собираешься из Чигирина отбыть? – спросил хорунжий.

– Мне бы следовало дня два Чаплинского подождать. Он, верно, за понесенную конфузю удовлетворение получить захочет.

– Это уж нет. Скорее он людей своих, не ходи ты в княжеской форме, на тебя наслал бы, но с князем задираться даже для слуги Конецпольских – дело рискованное.

<sup>15</sup> Подготавливается (*лат.*).

– Я его извещу, что жду, а дня через два-три двинусь. Засады я не боюсь, при себе – саблю, а с собою людей имею.

Сказав это, наместник простился со старым хорунжим и ушел.

Над городом от костров, разложенных на майдане, стояло такое ясное зарево, что можно было подумать – целый Чигирин горит; гомон же и крики с наступлением ночи еще более усилились. Евреи, те из своих жилищ даже высунуться не смели. В одном конце площади толпы чабанов завывали степные тоскливые песни. Дикие запорожцы плясали у костров, подкидывая вверх шапки, паля из пищалей и четвертями поглощая горелку. То там, то тут затевались потасовки, умиряемые людьми подстаросты. Наместник вынужден был расчищать дорогу рукоятью сабли, а несмолкаемые казацкие вопли и гам в какое-то мгновение показали ему уже голосом бунта. Казалось ему также, что видит он грозные взгляды и слышит тихую, обращенную к нему брань. В ушах наместника еще звучали слова Барабаша: «*Спаси Христе! Спаси Христе!*» – и сердце в груди стучало сильнее.

В городе между тем чабанские хоры заходились все громче, а запорожцы стреляли из самопалов и наливались горелкой.

Пальба и дикое «Ух-ха! Ух-ха!» доносились до наместниковых ушей даже и тогда, когда на своей квартире он расположился уже спать.

## Глава III

Спустя несколько дней отряд нашего наместника быстро передвигался в сторону Лубен. Переправившись через Днепр, пошли широкою степною дорогой, соединявшей Чигирин через Жуки, Семи-Могилы и Хорол с Лубнами. Такой же тракт вел из княжеской столицы в Киев. В прежние времена, до расправы гетмана Жолкевского у Солоницы, дорог этих не существовало вовсе. В Киев из Лубен ездили степью и пущей, в Чигирин был путь водный, а обратно – через Хорол. Вообще же приднепровский этот край – старая половецкая земля – совершенно пустынный, татарами часто навещаемый, казакам доступный, заселен был разве что до Дикого Поля.

Вдоль Сулы шумели громадные нехоженые и неброженные леса: местами по низкому берегу ее и по низким поймам Рудой, Слепорода, Коровая, Иржавца, Псла, а также прочих речек, реченок и притоков образовывались топкие пространства, поросшие или непроходимым кустарником и лесом, или травой – в виде открытых луговин. В дебрях тех и трясинах находил надежное убежище разный зверь; в дремучих лесных потемках обитало несметное множество бородатых туров, диких свиней и медведей, с ними соседствовала несчислимая серая братия волков, рысей, куниц, стада серн и красный зверь сайгак; в болотах и речных рукавах бобры устраивали свои гоны, а про бобров на Запорожье рассказывали, что меж них попадаются столетние старцы, белые от старости, как снег.

По высоким сухим степям носились дикие табуны буйногривых и кровавооких коней. Реки кишели рыбою и водоплавающей птицей.

Удивительная была эта земля: полууснувшая, но сохранившая на себе следы давнего человеческого пребывания – повсюду во множестве попадались останки каких-то древних сельбищ, да и Лубны с Хоролом были на подобных пепелищах поставлены; повсюду не счесть курганов, и не столь давно насыпанных, и стародавних, поросших уже лесом. Здесь тоже, как и на Диком Поле, являлись по ночам духи и призраки, а у костров старые запорожцы рассказывали друг другу небывальщины про то, что время от времени совершается в лесных чащобах, откуда доносился вой неведомых тварей, получеловеческие-полужверинные крики и грозный шум не то побоищ, не то ловить. Под водою гудели колокола ушедших на дно городов. Земля была негостеприимная и недоступная; тут, глядишь, слишком сырая, тут – почти безводная, выжженная, сухая и для жизни опасная; насельников к тому же – стоило им сколько-нибудь обжиться и обзавестись хозяйством – разоряли татарские набеги. Обычно заглядывали сюда только запорожцы ради бобровых хвостов или зверя и рыбы, ибо в мирное время большая часть низовых разбредалась из Сечи по всем рекам, ярам, лесам и зарослям на охоту, или, как называли это, «на промысел», рыская в местах, о существовании которых мало кому было известно.

Однако же и оседлая жизнь пыталась укорениться на землях этих – так растение, которое, где может, пытается вцепиться корешками в почву и, вырываемое то и дело, где может, продолжает расти.

На пустошах возникали острожки, поселения, колонии и хутора. Земля была местами плодородная, да и воля привлекала. Но лишь тогда закипела жизнь, когда край этот перешел во владение князей Вишневецких. Князь Михаил, женившись на Могилянке, усерднее принялся обживать свой заднепровский удел; привлекал людей, заселял пустоши, позволял до тридцати лет не платить податей, строил обители и вводил свое княжеское право. Даже поселенец, невесть когда пришедший на эти земли и полагавший, что хозяйствует на собственном наделе, охотно превращался в княжеского оброчника, так как за подать свою обретал могучее княжеское попечение, защищавшее его от татар и от худших порой, чем татары, низовых.

И все же настоящая жизнь процвела лишь под железной рукой молодого князя Иеремии. Начиналось его государство сразу же за Чигирином, а кончалось – гей! – у самого у Конотопа и Ромен. Но не одно оно составляло княжеские богатства, ибо, начиная от воеводства Сандомирского, князь владел землею в воеводствах Волынском, Русском и Киевском; однако же приднепровская вотчина была всего любезнее путивльскому победителю.

Татарин долго выжидал у Орла, у Ворсклы, принюхиваясь, точно волк, прежде чем осмеливался погнать коня на север; низовые ссоры не искали, местные лихие ватаги вступили на княжескую службу. Дикий и разбойный люд, искони промышлявший насилием и грабежом, оказавшись в узде, занимал теперь порубежные «полянки» и, залегши по границам края, как сторожевой пес, показывал врагам зубы.

И все расцвело, и закипела жизнь. По следам древних шляхов были проложены дороги; реки укротились плотинами, насыпанными невольником-татарином или низовым казаком, схваченным на разбойном деле. Там, где когда-то ветер дико играл по ночам в зарослях камыша да выли волки и утопленники, теперь погромыхивали мельницы. Более четырехсот водяных, не считая всюду, где можно, поставленных ветряков, смалывали хлеб в одном только Заднепровье. Сорок тысяч оброчных вносили оброк в княжескую казну, в лесах появились пасеки, по рубежам возникали все новые деревни, хутора, слободы. В степях бок о бок с дикими табунами паслись огромные стада домашнего скота и лошадей. Неоглядный однообразный вид степей и лесов оживился дымами хат, золотыми верхами церквей и костелов – пустыня превратилась в край, вполне заселенный.

Так что пан наместник Скшетуский, имея по пути надежные привалы, весело и не спеша словно бы по своей земле ехал. Только что начался январь сорок восьмого года, но странная, редкостная зима совершенно ничем себя не обнаруживала. В воздухе пахло весной, земля светила лужами талой воды, поля покрыты были зелеными, а солнце в полдни припекало так, что по дороге кожухи парили спину, точно летом.

Отряд наместника численно умножился, ибо в Чигирине присоединилось к нему валашское посольство, каковое в лице господина Розвана Урсу господарь направлял в Лубны. Посольство сопровождал эскорт – более десятка каралашей и челядь на телегах. Еще ехал с наместником уже знакомый нам пан Лонгинус Подбипятка герба Сорвиглавец, на боку имевший долгий свой меч, а для услужения – несколько человек дворни.

Солнце, превосходная погода и запахи близкой весны наполняли сердца радостью; наместник же пребывал в хорошем расположении духа еще и потому, что возвращался из долгого путешествия под княжеский кров, бывший и его кровом, возвращался, успешно справившись с делом, а значит, и уверенный в ласковом приеме.

Но для радости были у него и другие причины.

Кроме милости князя, которого наместник любил всею душой, ждали его в Лубнах некие сладостные как мед очи.

Принадлежали очи Анусе Борзобогатой-Красенской, придворной девице княгини Гризельды, самой прелестной девушке во всем фрауциммере, невозможной кокетке, по которой в Лубнах сохли все, а она ни по кому. У княгини Гризельды строгости были ужасные, а требования к благонравию неслыханные, но это, однако, не мешало молодежи обмениваться пылкими взглядами и вздыхать. Вот и пан Скшетуский, как и прочие, посылал вздохи этим черным очам, а когда случалось оставаться одному на своей квартире, брался за лютню и напевал:

Ты всем прочим яствам яство...

или же:

Ты жесточе, чем орда,

Corda<sup>16</sup> полонишь всегда!

Будучи, однако, человеком неунывающим, да притом еще и солдатом, дело свое очень любившим, он не принимал слишком близко к сердцу, что Ануся дарит улыбки свои, кроме него, и пану Быховцу из валашской хоругви, и пану Вурцелю, артиллеристу, и пану Володыёвскому, драгуну, и даже пану Барановскому из гусар, хотя последний был весьма седоват и, по причине разбитого самопальной пулею нёба, шепелявил. Наш наместник уже дрался как-то на саблях с паном Володыёвским из-за Ануси, однако если случалось подолгу засиживаться в Лубнах и не ходить на татар, то и с Анусею рядом он скучал, а когда приходилось выступать, то выступал охотно, без сожалений и печали сердечной.

Зато и возвращался он всегда с радостью. Вот и теперь, следуя после удачного завершения дел из Крыма, он весело напевал и горячил коня, едучи рядом с паном Лонгинусом, трусившим на огромной лифляндской кобыле, как всегда в унынии и печали. Посольские телеги, каралаши и эскорт остались далеко позади.

– Его милость посол лежит на возу, как колода, и все время спит, – заговорил наместник. – Чудес мне порассказал про свою Валахию, оттого и утомился! Я же слушал не без любопытства. Ничего не скажешь! Страна богатая, климат отменный, золота, вина, сластей и скотины довольно. Я вот и подумал, что князь наш, от Могиянки рожденный, имеет столько же прав на господарский трон, как иные прочие; а прав тех князь Михаил, кстати сказать, добивался. Не в новость нашим воеводам валашская земля. Били они там уже и турок, и татар, и самих валахов, и семиградских...

– Однако люди из тех краев помягче наших будут, о чем мне и пан Заглоба в Чигирине рассказывал, – ответил литвин. – А не поверь я ему, так в книжках богослужбных опять же тому подтверждение имеется.

– В богослужбных?

– У меня есть такая, и могу вашей милости показать; я с нею не расстаюсь.

Тут расстегнул он тороку у луки и, доставши маленькую, тщательно переплетенную в телячью кожу книжицу, сперва благоговейно поцеловал ее, а потом, перелистав с полтора десятка страниц, сказал:

– Читай, сударь.

Пан Скшетуский начал:

– «К защите Твоей прибегаем, Пресвятая Богородица...» Где же тут стоит про валахов? Что ты, сударь, говоришь? Это же антифон!

– Читай, ваша милость, читай.

– «Дабы достойны мы были обетований Христовых. Аминь».

– Ну а далее вопрос...

Скшетуский прочитал:

– «Вопрос: Отчего кавалерия валашская зовется легкой? Ответ: Оттого, что легко удирает. Аминь». Гм! Верно! Однако в книжице твоей странное весьма материй смешение.

– Потому что это книжка солдатская: так что к молитвам разные *instructiones militares*<sup>17</sup> прилагаются, из которых узнаешь, ваша милость, про все нации, какая из них достойнейшая, какая подлая; касательно же валахов оказывается, что трусливые из них ребята, да к тому еще и вероломцы великие.

– Что вероломцы – точно. Оно видно даже по неприятностям князя Михаила. Честно говоря, я тоже слышал, что солдат из ихних неособенный. А все-таки у его милости князя

---

<sup>16</sup> Сердця (лат.).

<sup>17</sup> Военские наставления (лат.).

валашская хоругвь, где в поручиках пан Быховец, очень хороша, но *stricte*<sup>18</sup>, честно говоря, не знаю, найдется ли в той хоругви два десятка валахов.

– А как ты, ваша милость, полагаешь, много вооруженных людей у князя?

– Тысяч восемь, не считая казаков на стоянках. Однако Зацвилюховский говорил, что сейчас новые наборы производятся.

– Значит, даст Бог, какой-нибудь поход под началом господина князя будет?

– Поговаривают, что большая война с турчином готовится, сам король со всею ратью Речи Посполитой выступить намерен. Известно мне также, что подарки татарам прекращены, а татары о набегах и думать забыли со страху. Про то я и в Крыму слыхал, где поэтому, вероятно, принимали меня таково *honeste*<sup>19</sup>, ибо есть еще слух, что, когда король с гетманами двинется, князь должен ударить на Крым и татар разбить окончательно. Похоже, так оно и будет – на кого еще такое возложить можно?

Пан Лонгинус вознес к небу руки и очи:

– Пошли же, Господи милосердный, пошли же таковую священную войну во славу христианства и народа нашего, а мне, грешному, дай в ней обеты мои свершить, чтобы *in luctu*<sup>20</sup> мог я быть утешен или славную смерть нашел!

– Ты, сударь, обет насчет войны дал?

– Такому достойному кавалеру все тайны души открою, хотя и долго рассказывать; но раз ты, ваша милость, ухом благосклонным внимаешь, тогда *incipiam*<sup>21</sup>. Тебе, сударь, уже известно, что герб мой зовется Сорвиглавец, и потому это, что под Грюнвальдом предок мой Стовеико Подбипятка трех рыцарей, скакавших бок о бок в монашских куколях, подобрал сзади, одним махом обезглавил, о каковом славном подвиге старинные летописи сообщают с великой для предка моего хвалою...

– Не слабее, видать, рука предка твоей руки, так что прозвали Сорвиглавцем его справедливо.

– Ему король и герб пожаловал, а в гербе три козьих головы на серебряном поле в память о трех рыцарях, потому что такие же головы на их щитах были изображены. Герб и этот вот меч предок Стовеико Подбипятка передал потомкам своим, наказав продолжать славу и рода и меча.

– Ничего не скажешь, достойное родословие!

Пан же Лонгинус принялся печально вздыхать, а когда ему наконец малость полегчало, признания свои продолжил:

– Будучи, значит, в роду нашем последний, дал я в Троках обет Пресвятой Деве пребывать в целомудрии и не пойти к венцу, прежде чем, по славному примеру Стовеика Подбипятки, предка моего, трех голов тем же мечом с одного маху не отсеку. Добрый Господи, Ты знаешь, что я сделал все, от меня зависящее! Целомудрие сохранил по сей день, сердцу нежному приказал молчать, брани искал, да только счастье вот меня обходит...

Поручик усмехнулся в усы:

– И не отсек, ваша милость, три головы?

– От! Не случилось! Везенья нету! По две еще приходилось, но три – никогда. Никак не выходит сзади подъехать, а неприятеля не попросишь, чтобы рядком под замах строился. Один Бог и знает мои удрученья: сила в руках-ногах есть, имение предостаточное... Но *adolescencia*<sup>22</sup> уходит, скоро сорок пять лет исполнится, сердце любви требует, род угасает,

---

<sup>18</sup> Точно (*лат.*).

<sup>19</sup> С почетом (*лат.*).

<sup>20</sup> В скорби (*лат.*).

<sup>21</sup> Я начну (*лат.*).

<sup>22</sup> Младость (*лат.*).

а трех голов как не было, так и нету!.. Вот какой Сорвиглавец из меня. Посмешище людям, как справедливо говорит пан Заглоба, что я смиренно и сношу, Господу Иисусу к подножию полагая.

Литвин снова так завздыхал, что лифляндская его кобыла, по всей вероятности из сочувствия к своему хозяину, принялась кряхтеть и жалобно посапывать.

– Одно я могу сказать вашей милости, – молвил наместник, – что ежели под знаменами князя Иеремии оказии не подвернется, то, значит, не подвернется никогда.

– Дай-то боже! – ответил пан Лонгинус. – Потому и еду просить службы у князя-воеводы.

Дальнейший их разговор был прерван внезапным шумом птичьих крыльев. Как уже было сказано, в зиму ту пернатые за моря не улетели, реки не замерзли, оттого повсюду над болотами было особенно много речной птицы. Поручик с паном Лонгином как раз подъезжали к берегу Кагамлыка, когда над головами их прошумела вдруг целая журавлиная стая, летевшая так низко, что можно было палкой докинуть. Стая неслась с отчаянными кликами и, вместо того чтобы опуститься в камыши, неожиданно взмыла вверх.

– Похоже, за ними кто-то гонится, – заметил Скшетуский.

– А вон, ваша милость, гляди! – воскликнул пан Лонгинус, указывая белую птицу, которая, разрезая косым полетом воздух, явно намеревалась приблизиться к стае.

– Кречет! Кречет! Запасть им не дает! – закричал наместник. – У посла кречеты есть, он и пустил, наверно!

В ту же минуту на вороном анатолийском жеребце галопом подскакал господин Розван Урсу, а за ним несколько служилых каралашей.

– Пане поручик, пожалуйста на забаву, – сказал он.

– Твой кречет, ваша милость?

– Мой, и преотменный! Сейчас, сударь, увидишь...

Они втроем пустились вперед, а за ними с обручем валах-сокольничий, старавшийся не потерять птиц из виду и что было сил кричавший, раззадоривая кречета к бою.

Умная птица вынудила между тем стаю подняться вверх, сама молниеносно взмыла еще выше и повисла над ней. Журавли сбились в единое огромное коловращение, точно буря шумевшее крылами. Истошные крики наполнили воздух. Птицы, ожидая атаки, вытянули шеи и пиками выставили вверх клювы.

Кречет пока что кружил над ними. Он то снижался, то поднимался, словно бы не решаясь кинуться туда, где грудь его ожидало множество острых клювов. Белые его перья, освещенные солнцем, сверкали в погожей небесной голубизне, точно само солнце.

Вдруг, вместо того чтобы упасть на стаю, он стрелой умчался вдаль и вскоре пропал за кучами деревьев и тростника.

Первым вслед рванулся с места Скшетуский. Посол, сокольничий и пан Лонгинус последовали его примеру.

Однако на повороте дороги наместник коня придержал, потому что увидел новое и странное зрелище. Посреди тракта лежала на боку колымага со сломанной осью. Выпряженных коней держали два казачка. Возницы не было – он, как видно, отправился искать помощи. У колымаги стояли две барыни; одна со строгим мужеподобным лицом, одетая в лисий тулуп и такую же шапку с круглым донцем, вторая – молодая высокая девушка с тонкими и очень соразмерными чертами. На плече этой молодой особы преспокойно сидел кречет и, встопорщив на груди перья, разглаживал их клювом.

Наместник осадил коня, так что копыта врылись в песок дороги, и потянулся к шапке, не зная, как быть: здороваться или кречета потребовать? Растерялся он еще и оттого, что из-под куньей шапочки глянули на него такие очи, каких, сколько жив, он не видывал: черные, бархатные, печальные и такие переменчивые, такие жгучие, что глазки Ануси Борзобогатой при них померкли бы, как свечки при факелах. Над очами теми изгибались двумя мягкими дугами

шелковые темные брови; румяные щеки цвели, точно цветки прелестнейшие, меж слегка приоткрытых малиновых губок сверкали жемчугами зубки, а из-под шапочки струились роскошные черные косы. «Уж не Юнона ли то собственно персоной или другое какое божество?» – подумал наместник, созерцая стройный этот стан, округлые перси и белого сокола на плече. И стоял наш поручик без шапки, и уставился, точно на картину писаную, и только глаза его пылали, а сердце словно бы стискивала рука чья. И собирался он было начать речь словами: «Ежели ты смертное создание, а не божество...» – но тут подскакали посол с паном Лонгинусом, а с ними и сокольник с обручем. Тогда богиня подставила кречету руку, на которой тот, спустившись с плеча, преспокойно устроился, переступая с лапы на лапу. Наместник, опережая сокольника, хотел снять птицу, но вдруг случился удивительный казус. Кречет, оставив одну лапу на руке девушки, другую вцепился в руку наместника и, вместо того чтобы на нее перебраться, стал радостно пищать и так сильно притягивать руки одну к другой, что те соприкоснулись. Мурашки пробежали по спине наместника, а кречет тогда лишь дался пересадить себя на обруч, когда сокольник надел на голову ему клобучок. Между тем пожилая барыня взволнованно заговорила:

– Рыцарь, кем бы вы ни были, не откажите в помощи дамам, оказавшимся в затруднительном положении на дороге и не знающим, что предпринять. До дому осталось мили три, но в колыхаге полопались оси, и нам, похоже, придется ночевать в поле; возницу я послала к сыновьям, чтобы хоть телегу сюда прислали, но пока возница доедет и вернется, делается темно, а в урочище этом оставаться страшно, потому что тут могилы поблизости.



*– Рыцарь, кем бы вы ни были, не откажите в помощи дамам, оказавшимся в затруднительном положении на дороге...*

Старая шляхтянка говорила быстро и голосом таким низким, что наместник даже удивился. Тем не менее он учтиво ответил:

– Не допускай же, сударыня, таковой мысли, что мы тебя с пригожей дочкой твоей без помощи оставим. Направляемся мы в Лубны, ибо на службе у светлейшего князя Иеремии состоим, и ехать нам, кажется, в одну сторону; а хоть бы даже и в разные – все равно сбочить можно, лишь бы ассистенция наша не оказалась докучлива. Что же телег касается, то у меня их нету, так как еду с товарищами по-солдатски, без обоза, но господин посол телегами располагает и, я чай, с удовольствием, как учтивый кавалер, госпоже и барышне послужит.

Посол снял соболий колпак, ибо, зная польскую речь, понял, о чем разговор, и тотчас же, как обходительный боярин, с любезным комплиментом поспешил предложить свои услуги, после чего велел сокольничему бежать за сильно отставшими телегами. Наместник между тем глядел на девушку, которая, смешавшись от пылкого этого взгляда, опустила очи долу, а барыня с казацкой внешностью на этот раз сказала вот что:

– Господь да вознаградит вас за помощь! А поскольку до Лубен дорога не близка, не пренебрегите моим и сыновей моих кровом, под которым вам будут рады. Мы из Разлогов-Сироммах. Я вдова князя Курцевича-Булыги, а это не дочка моя, но дочь покойного Курцевича-старшего, брата моего мужа, отдавшего сироту свою в наше попечение. Сыны мои сейчас дома, а я возвращаюсь из Черкасс, куда к алтарю Святой Пречистой со вкладом ездила. И вот на обратном пути случилась с нами эта неприятность, так что, ежели бы не политес ваших милостей, нам, пожалуй, пришлось бы на дороге заночевать.

Княгиня говорила бы еще, но вдалеке показались приближавшиеся на рысях телеги в сопровождении множества посольских каралашей и солдат Скшетуского.

– Так вы, сударыня, вдова князя Василя Курцевича? – спросил наместник.

– Нет! – резко и словно бы гневливо возразила княгиня. – Я вдова Константина, а это – дочь Василя, Елена! – сказала она, указывая на девушку.

– О князе Василе много в Лубнах разговору. Был он и воин великий, и покойного князя Михаила наперсник.

– В Лубнах не бывала, – с некоторым высокомерием сказала княгиня, – и про его воеводство не наслышана, но про дальнейшие деяния и вспоминать не стоит, ибо про них и так всем все известно.

Слушая это, княжна Елена, словно цветок, подрезанный косой, опустила голову, а наместник незамедлительно сказал:

– Такого, сударыня, не говори. Князь Василь, из-за ужасной еггот<sup>23</sup> правосудия людского приговоренный к лишению добра и живота, вынужден был бегством спастись, но затем невинность его была доказана, о чем тоже и оглашено было, и честь ему, как мужу добродетельному, вернули; а чести тем больше, чем большая несправедливость совершилась.

Княгиня быстро глянула на наместника, и на неприятном, резком лице ее сделался заметен гнев. Однако в пане Скшетуском, хоть был он человеком молодым, воплощалось столько рыцарского достоинства, а взгляд его был так ясен, что возразить она не решилась, но зато повернулась к княжне Елене:

– Девицам этого знать не положено. Пойди-ка да присмотри, чтобы клажу из колымаги переложили на те возы, в которых мы поедем с позволения их милостей.

– Разреши же, барышня-панна, помочь тебе, – сказал наместник.

Они вдвоем пошли к колымаге, а когда оказались друг против друга у противоположных дверей, шелковая бахрома очей княжны распахнулась, и взор ее, словно теплый и ясный луч солнца, упал на лицо поручика.

– Как мне благодарить вашу милость, сударь... – сказала она голосом, показавшимся наместнику сладостной музыкой, звукам лютни и флейт подобной, – как мне благодарить тебя

---

<sup>23</sup> Ошибки (лат.).

за то, что вступился за достоинство отца моего, противу кривды, которая от родственников ему делается.

– Милостивая панна, – ответил наместник, чувствуя, что сердце тает в груди его, как снег весною, – да не оставит меня Господь, а я ради благодарности твоей готов хоть в огонь прыгнуть, а то и вовсе кровь отдать, но если столь велико желание, то невелика заслуга, а ввиду малости ее не подобает мне благодарной платы из уст твоих принимать.

– Ежели пренебрегаешь ею, сударь, то я, бедная сирота, даже не знаю, как по-иному благодарность выразить.

– Не пренебрегаю я, – с возрастающим пылом возразил наместник, – но немалый сей фавор жажду заслужить долгой и преданной службой и о том лишь прошу, чтобы любезная барышня принять от меня службу эту благоволила.

Княжна, слыша такие слова, снова смешалась, покраснела, потом вдруг кровь отхлынула от ее щек, и, закрыв лицо ладонями, она ответила огорченным голосом:

– Одни несчастья принесет вашей милости служба эта.

А наместник наклонился к дверцам коляски и сказал тихо и трогательно:

– Принесет, что Бог пошлет. А хоть бы и страдание! Все равно я к ногам твоим, милостивая панна, упасть готов и ее вымалывать.

– Возможно ли, едва увидев меня, столь огромное желание к услужению возыметь?

– Стоило мне тебя увидеть, как я о себе тотчас думать забыл и чувствую, что вольному до сих пор солдату в раба, кажется, превратиться придется; но на то, как видно, воля Божья. Сердечная страсть, она стреле подобна, неожиданно грудь пронзающей: и вот я сам удар ее почувствовал, хотя еще вчера не поверил бы, скажи мне кто, что такое может случиться.

– Если ваша милость вчера бы не поверил, как же я сегодня поверить могу?

– Время, любезная панна, убедит тебя в том. А искренность хоть сейчас не только в словах моих, но и на лице увидеть можешь.

И снова шелковые завесы девичьих очей распахнулись, и взору княжны открылось благородное и мужественное лицо молодого воина: взгляд его исполнен был такого восхищения, что лицо ее покрылось густым румянцем. Но теперь очей она не опускала, и он какое-то время впивал сладость дивного этого взора. И глядели они так друг на друга, точно два существа, которые хоть и встретились на большой дороге в степи, но знают, что избрали один другого раз и навсегда и души их, точно два голубя, начинают свой полет одна к другой.

Минута упоения этого была прервана резким голосом Курцевичихи, звавшей княжну. Подъехали телеги. Каралаши начали переносить на них поклажу из колымаги, и скоро все было готово.

Учтивый боярин господин Розван Урсу уступил дамам собственную карету, наместник сел в седло, и все двинулись.

День уже клонился на покой. Разлившиеся воды Кагамлыка сияли золотом заходящего солнца и пурпуром заката. Высоко в небе собрались стайки легких туч; они, постепенно алая, тихо двигались к горизонту, точно, утомясь парением в поднебесье, собирались улечься спать в какую-то неведомую колыбель. Скшетуский ехал рядом с княжной, но беседою ее не занимал, потому что говорить, как они только что разговаривали, при посторонних не мог, а слова, ничего не значащие, на язык не шли. И только чувствовал он в своем сердце сладость, а в голове его что-то шумело, точно вино.

Вся процессия бодро устремлялась вперед, и тишину нарушало только фыркание лошадей да звон стремени о стремя. Потом на задних возах каралаши затянули тоскливую валашскую песню, однако вскоре умолкли, и тогда сделался слышен гнусавый голос пана Лонгина, благолепно распевającego: «Я причина на небеси свету немеркнушему и, яко мгла, покрыла твердь всяческую». Тем временем стемнело. Звездочки замерцали в небе, а с влажных лугов поднялись белые, подобные морям бескрайним, туманы.

Въехали в лес, но не проехали и нескольких верст, как послышался конский топот и пятеро всадников возникли впереди. Это были княжичи, узнавшие от возницы о приключившейся их матери беде и спешившие на помощь, ведя с собой повозку, запряженную четверней.

– Это вы, сынки? – окликнула старая княгиня.

Всадники подъехали к телегам:

– Мы, мать!

– Ну, здравствуйте! Благодаря этим вот сударям мне уж и не нужна помощь. А это сынки мои, которых я вашему покровительству, милостивые государи, препоручаю: Симеон, Юр, Андрей и Миколай. А кто ж там пятый? – сказала она, вглядываясь внимательней. – Гей! Ежели в потемках старые глаза не обознались, это, никак, Богун, а?

Княжна внезапно откинулась вглубь кареты.

– Поклон вам, княгиня, и вам, княжна Елена! – промолвил пятый ездок.

– Богун! – сказала старуха. – Из полка, соколик, прибыл? А с торбаном ли? Ну здравствуй, здравствуй! Гей, сынки! Я уж пригласила их милостей господ на ночлег в Разлоги, а теперь вы им поклонитесь! Гость в дом – Бог в дом! Не побрезгуйте, судари, кровом нашим.

Бульги снимали шапки.

– Покорно просим ваши милости в недостойные пороги.

– Они уже согласились – и его светлость господин посол, и его милость господин наместник. Знатных кавалеров принимать будем: только вот не знаю, придется ли им, к деликатесам придворным привыкшим, по вкусу наше убогое хлебово.

– Солдатским мы хлебом, не дворским вскормлены, – сказал Скшетуский.

А господин Розван Урсу добавил:

– Едал я уже радушный хлеб в шляхетских домах и знаю, что дворскому до него далеко.

Повозки двинулись, и старая княгиня заговорила снова:

– Давно, ох давно миновали добрые для нас времена. На Волыни да на Литве есть еще Курцевичи, которые и жолнеров наемных держат, и во всем по-господски живут, только они кровных своих, какие победнее, знать не хотят, за что Господь с них и взыщет. У нас же прямо-таки нужда казацкая, и вы, судари, должны нам ее простить, а что ото всей души предложено будет, принять с открытым сердцем. Я с пятью сыновьями сидим на одной деревеньке да на десяти с лишним слободках, а притом еще и оную барышню опекаем.

Слова эти наместника удивили, ибо в Лубнах он слышал, что Разлоги были немалым шляхетским имением и принадлежали некогда князю Василию, отцу Елены. Однако поинтересоваться, каким образом перешли они в руки к Константину и его вдове, он счел неуместным.

– У вас, значит, любезная сударыня, пять сыновей? – вступил в разговор Розван Урсу.

– Было пятеро, один в одного, – ответила княгиня. – Да только старшему, Василию, нехристи в Белгороде очи факелами выжгли, отчего он умом повредился. Когда молодые в поход уходят, я остаюсь только с ним да с панною, с которою одни хлопоты, радости же никакой.

Высокомерный тон, с каким старая княгиня говорила о племяннице, был столь явен, что не ускользнул от внимания Скшетуского. В груди его закипел гнев, и он чуть было не сказал грубое слово, но брань замерла на устах, когда, взглянув на княжну, поручик при свете месяца увидел в глазах ее слезы...

– Что с тобою, любезная барышня? Отчего плачешь? – тихо спросил он.

Княжна не ответила.

– Я не могу видеть твоих слез, – сказал Скшетуский и наклонился к ней, а заметив, что старая княгиня беседует с господином Розваном Урсу и не глядит в их сторону, продолжал допытываться: – Ради бога, скажи хоть слово, ибо, клянусь небом, я кровь и здоровье отдам, лишь бы тебя утешить.

Внезапно поручик почувствовал, что кто-то из верховых так сильно теснит его, что кони чуть ли не боками трутся.

Разговор с княжною прервался, а Скшетуский, удивленный и разозленный, повернулся к невеже.

При свете месяца он увидел глаза, глядевшие дерзко, вызывающе и вместе с тем насмешливо.

Страшные очи эти светились, точно волчьи глазища в темном бору.

«Это еще что такое? – подумал наместник. – Бес или кто?» – и, глядя в упор в горящие зрачки, спросил:

– А с чего это ты, сударь, конем напирал и глазами меня буровишь?

Всадник ничего не ответил, однако глядеть продолжал так же упорно и нахально.

– Ежели темно, могу огня высечь, а ежели узка дорога, давай-ка в степь! – сказал наместник, повышая голос.



*Внезапно поручик почувствовал, что кто-то из верховых так сильно теснит его, что кони чуть ли не боками трутся.*

*– А ти одлітай, ляшку, од коляски, коли степ бачиш, –* ответил всадник.

Наместник, будучи человеком в решениях скорым, без лишних слов так сильно пнул лошадь наглеца в брюхо, что та всхрапнула и одним скачком прыгнула к самой обочине.

Всадник ее осадил, и какое-то мгновение казалось, что он собирается броситься на Скшетуского, но тут раздался резкий, повелительный голос старой княгини:

– *Богун, що з тобою?*

Эти слова произвели немедленное действие. Всадник поворотил коня на месте и перешел по другую сторону кареты к княгине, та же продолжала:

– *Що з тобою?* Эй! Ты не в Переяславе и не в Крыму, а в Разлогах, не забывай. А теперь поезжай-ка вперед да проведи телеги, а то яр сейчас будет, а в яру темно. *Годі, сіромаха!*

Скшетуский был сколько удивлен, столько и разгневан. Богун этот, как видно, искал ссоры и добился бы своего, но зачем? С чего вдруг это неожиданное недоброжелательство?

В голове наместника мелькнула мысль, что причиною тому княжна, и он в этой мысли утвердился, когда, взглянув на лицо девушки, увидел, несмотря на ночную тьму, что оно было блее полотно и что написан на нем нескрываемый ужас.

Между тем Богун, как и велела ему княгиня, рванул с места вперед, а старуха, глядя ему вслед, сказала не столько себе, сколько наместнику:

– Отчаянная это голова и дьявол казацкий.

– И не в полном уме, как видно, – презрительно заметил Скшетуский. – Это что же – казак на службе у сыновей твоей милости, сударыня?

Старая княгиня откинулась на подушки кареты.

– Что ты, сударь, говоришь! Это же Богун, подполковник казацкий, прославленный удалец, сыновьям моим друг, а мне все равно что приемный, шестой сын. Быть не может, чтобы ты, сударь, имени его не слышал. Про него же все знают.

И правда, Скшетускому имя это было хорошо известно. Оно гремело громче имен многочисленных казацких полковников и атаманов, и молва славил его на обоих берегах Днепра. Слепцы пели песни про Богуна по ярмаркам и корчмам, на посиделках о молодом атамане рассказывали легенды. Кем он был, откуда взялся, никто не знал. Но колыбелью ему, уж точно, были степи, Днепр, пороги и Чертомлык со всем своим лабиринтом теснин, заливов, омутов, островов, скал, лощин и тростников. Сызмалу сжился он и слился с этим первозданным миром.

В мирную пору хаживал он вместе с прочими «за рыбою и зверем», шатался по днепровским излучинам, с толпою полуголых дружков бродил по болотам и камышам, а нет – так целые месяцы пропадал в лесных чащобах. Школою его были вылазки в Дикое Поле за татарскими стадами и табунами, засады, битвы, набеги на береговые улусы, на Белгород, на Валахию, либо – чайками – в Черное море. Других дней, кроме как в седле, он не знал, других ночей, кроме как у степного костра, не ведал. Рано стал он любимцем всего Низовья, рано сам начал предводительствовать другими, а вскоре и всех превзошел отвагою. Он был готов с сотней сабель идти на Бахчисарай и на глазах у самого хана жечь и палить; он громил улусы и местечки, вырезал до последнего жителей, пленных мурз разрывал надвое лошадыми, налетал, как буря, проносился, как смерть. На море он, словно бешеный, бросался на турецкие галеры. Забирался в самое сердце Буджака, влазил, как говорили, прямо в пасть ко льву. Некоторые походы его были просто безрассудны. Менее отважные, менее бесшабашные корчились на колах в Стамбуле или гнили на веслах турецких галер – он же всегда оставался цел и невредим, да еще и с богатой добычей. Поговаривали, что скопил он несметные сокровища и прячет их в приднепровских чащобах, но не раз тоже видели, как топчет он перемазанными сапогами бархаты и парчу, как стелет коням под копыта ковры или, разодетый в дамаст, купается в дегте, нарочно показывая казацкое презрение к великолепным этим тканям и нарядам. Долго он нигде не засиживался. Поступками его вершили удаль и молодечество. Порою, приехав в Чигирин, Черкассы или Переяслав, гулял он напропалую с запорожцами, порою жил как отшельник, с людьми не znalся и уходил в степи. Порою ни с того ни с сего окружал себя слепцами, по целым дням слушая их игру и песни, а их самих золотом осыпая. Среди шляхты умел он быть дворским кавалером, среди казаков – самым бесшабашным казаком, среди рыцарей –

рыцарем, среди грабителей – грабителем. Некоторые считали его безумцем, ибо это была душа и необузданная, и безрассудная. Зачем он жил на свете, чего хотел, куда стремился, кому служил? – он и сам не знал. А служил он степям, ветрам, битвам, любви и собственной неумной душе. Эта неумность и отличала его от прочих неотесанных вожаков и ото всей разбойной братии, у которой на уме только и было что грабежи и которой было все равно – татар грабить или своих. Богун добычу брал тоже, но войну предпочитал добыче; рисковал ради самого риска; за песни расплачивался золотом; искал славы, а об остальном не заботился.

Изо всех атаманов только он, пожалуй, и олицетворял собою казака-рыцаря, потому и песня избрала его своим любимцем, а имя прославилось по всей Украине.

В последнее время Богун сделался переяславским подполковником, но власть исправлял полковничью, ибо старый Лобода уже нетвердо держал булаву костенеющей рукою.

Так что Скшетуский прекрасно знал, кто такой Богун, а если и спросил старую княгиню, казак ли тот на службе у ее сыновей, то сделал так ради умышленного небрежения, ибо почувал в нем врага; и, хоть знаменит был атаман, закипела кровь в наместнике, а все потому, что казак держал себя с ним столь нагло.

Еще он понял, что если все так началось, то и закончится непросто. Но остер был на язык пан Скшетуский и уверен в себе, и даже чересчур, и тоже не отступал ни перед чем, а до опасностей и вовсе был жаден. И хоть готов он был незамедлительно погнать коня вслед Богуну, но ехать рядом с княжною продолжал. К тому же телеги уже миновали яр и вдали показались огни Разлогов.

## Глава IV

Курцевичи-Булыги были старинным княжеским родом, гербом которого был Кур, а родословие велось от Кориата; на самом же деле род происходил якобы от Рюрика. Из двух главных ветвей одна сидела на Литве, другая на Волыни; на Заднепровье же перебрался в свое время князь Василь, один из многочисленных потомков волынской линии. Будучи небогат, он не пожелал прозябать среди могущественных родственников и поступил на службу к князю Михаилу Вишневецкому, отцу многославного Яремы.

Прославив на этом поприще свое имя и оказав князю немалые рыцарские услуги, он получил за это в наследственное владение Красные Разлоги, прозванные потом из-за великого множества волков Волчьими Разлогами, и на постоянное жительство там осел. В год 1629-й, перешедши в латинство, он женился на Рагозянке, девице из почтенного шляхетского рода, происходившего из валашской земли. Через год от брака этого появилась на свет дочка Елена. Мать умерла при родах, князь Василь же, о втором браке не помышляя, посвятил себя целиком хозяйству и воспитанию единственной дочери. Был он человеком сильного характера и необычайных достоинств. Довольно быстро добившись небольшого, но и немалого состояния, он тотчас вспомнил о своем старшем брате Константине, который, оставаясь на Волыни в бедности и отчуждении от владетельных родичей, вынужден был ходить в арендаторах. Его с его женой и пятью сыновьями перевез Василь в Разлоги и стал делиться с ними каждым куском хлеба. Так и жили в согласии оба Курцевича до самого конца 1634 года, когда Василь с королем Владиславом под Смоленск пошел. Там-то и случилась прискорбная история, ставшая причиной его гибели. В королевском лагере было перехвачено письмо, писанное к Шеину, а подписанное именем князя и запечатанное Куром. Столь неоспоримое свидетельство измены, совершенной рыцарем, имя которого до той поры было безупречно, всех поразило и ошеломило. Напрасно Василь небеса в свидетели призывал, что письмо писано не его рукой и не им подписано, – герб Кур на печати исключал всякие сомнения, а в потерю перстня с печаткой, чем князь все дело объяснял, никто не поверил. В конце концов князь, *pro crimine perduelionis*<sup>24</sup> приговоренный к лишению чести и живота, вынужден был бежать. Явившись ночью в Разлоги, Василь стал заклинать всеми святыми брата Константина, чтобы тот заботился о его дочке, как родной отец; сам же исчез навсегда. Говорили, что он послал из Бара письмо князю Иеремии, прося не отнимать куска хлеба у Елены и позволить ей спокойно жить в Разлогах под опекою Константина; потом всякий слух о князе пропал. Были сведения, что он вскоре умер; еще говорили, что он примкнул к цесарским и погиб на немецкой войне. Но кто мог знать что-то наверняка? По видимому, он и в самом деле погиб, потому что более судьбою дочери не интересовался. Скоро о нем и говорить перестали, а вспомнили тогда, когда выяснилось, что никакой вины на князе нету. Некий Купцевич, витебчанин, умирая, признался, что писал под Смоленском Шеину он, а запечатал письмо найденным в лагере перстнем. Ввиду такого свидетельства сожаление и растерянность овладели всеми сердцами. Приговор был пересмотрен, князю Василию вернули доброе имя, но для осужденного воздаяние за пережитое пришло слишком поздно. Разлоги же Иеремия и не думал отнимать, ибо Вишневецкие, лучше прочих зная Василия, никогда на нем вины не полагали. Он бы даже мог прибегнуть к их могущественному покровительству и над приговором посмеяться, а если удалился, то потому лишь, что не вынес бесчестья.

Елена спокойно росла в Разлогах под заботливым присмотром дяди, и только после его смерти настали для нее тяжелые времена. Жена Константина, происхождения будучи сомнительного, по характеру была женщиной суровой, крутой и энергичной: муж только и мог держать ее в послушании. После его смерти она железной рукой стала править в Разлогах.

<sup>24</sup> По обвинению в государственной измене (*лат.*).

Служба трепетала ее: холопья боялись барыни как огня, соседям она тоже вскоре себя показала. На третьем году правления своего, одетая по-мужски, верхом предводительствуя челядью и наемными казаками, она дважды совершила вооруженные нападения на Сивинских в Броварках. Когда полки князя Иеремии поколотили какую-то татарскую ватагу, бесчинствовавшую у Семи-Могил, княгиня, возглавив своих людей, уничтожила остатки недобитых, удравших от князя к Разлогам. В Разлогах же она обосновалась прочно и стала считать их своей и своих сыновей собственностью. Сыновей она любила, как волчиха волчонков, но, будучи простолюдинкой, не позаботилась о приличном для них воспитании. Монах греческого обряда, привезенный из Киева, выучил их грамоте и цифири, на чем наука и закончилась. А между тем поблизости были Лубны с княжеским двором, при котором молодые князья могли приобрести лоск, понатореть в канцелярском деле для мирской пользы или, записавшись в хоругви, в рыцарской науке. У княгини, как видно, были свои причины в Лубны их не посылать.

А вдруг бы князь Иеремия припомнил, чьи они, Разлоги, и поинтересовался бы судьбою Елены? Или сам, чья память Василя, решил бы взять попечительство на себя? Тогда, наверно, пришлось бы из имени убираться, и поэтому княгиню устраивало, чтобы в Лубнах вообще позабыли о существовании каких-то Курцевичей. Вот молодые князья и воспитывались невеждами, скорее по-казацки, чем по-шляхетски. Уже отроками принимали они участие в сварах старой княгини, в набегах на Сивинских, в походах на татарские шайки. Чувствуя врожденное отвращение к грамоте и книгам, княжичи по целым дням стреляли из луков, обучались управляться с кистенем и саблей или накидывать аркан. Даже хозяйство не интересовало их, ибо княгиня не выпускала его из рук. И грустно было видеть этих потомков блистательного рода, в жилах которых текла благородная кровь, но привычки остались дикими и грубыми, а разум и очерстевшие сердца напоминали залежь степную. Вымахали они что дубы, однако, сознавая свою невоспитанность и неотесанность, стеснялись водиться со шляхтой, более удобным находя общество диких казацких вожakov. Они давно вошли в сношения с Низовьем, где к княжичам относились как к своим. По полгода, а то и больше пропадали они на Сечи, отправлялись с казаками на «промысел», ходили походами на турок и татар; и такие походы стали в конце концов главным и любимым их времяпрепровождением. Мать этому не препятствовала, потому что, как правило, возвращались они с богатой добычей. Увы, в одном из походов старший, Василь, попал в руки к поганым. Братья с помощью Богуна и Богуновых запорожцев хоть и отбили старшего, но ослепленным. С той поры ему больше ничего не оставалось, как сидеть дома; и насколько прежде он был самый свирепый, настолько теперь помягчел, совершенно предавшись размышлению и молитве. Молодые же и далее продолжали заниматься ратным делом, что в конце концов снискало им прозвище Князья-Казаки. Ко всему – довольно было взглянуть на Разлоги-Сиромахи, чтобы сразу понять, что за люди тут обитают. Когда пан Скшетуский и посол с посольскими телегами въехали в ворота, они увидели не усадьбу, а скорее громадный сарай, из огромных дубовых кряжей сложенный, с узкими, похожими на бойницы, окнами. Помещения для челяди и казаков, конюшни, амбары и чуланы непосредственно примыкали к жилью, составляя нескладное сооружение, из многих – то высоких, то низких – строений состоящее, по виду столь убогое и неказистое, что, не будь света в окошках, почесть все это жильем человеческим было бы трудно. На майдане перед домом торчали два колодезных журавля, ближе к воротам стояла столбушка с положенным на нее колесом для посаженного на цепь ручного медведя. Могучие ворота – тоже из дубовых кряжей – служили въездом на майдан, целиком окруженный рвом и частоколом.

Все указывало, что это – оборонное сооружение, укрепленное противу набегов и нападений. Видом своим оно напоминало еще и казацкую «полянку»; и, хотя большинство порубежных шляхетских усадеб такого, а не другого были вида, эта куда более прочих была похожа на гнездо хищников. Челядь, вышедшая с факелами встречать гостей, больше смахивала на разбойников, чем на дворню. Огромные псы рвались на майдане с цепей, словно намере-

ваясь сорваться и кинуться на приезжих, из конюшен доносилось конское ржание, а молодые Бульги вместе с матерью принялись окликать слуг, отдавать распоряжения и браниться. Среди всего этого шума и гама гости прошли в дом, и тут господин Розван Урсу, замечавший пока лишь дикость и убожество усадьбы и сожалевший, что принял приглашение ночевать, искренне изумился тому, что открылось его взору.

Внутри жилище совершенно не соответствовало захудалому внешнему виду. Сперва вошли в просторные сени, стены которых почти сплошь были увешаны доспехами, оружием и шкурами диких зверей. В двух громадных очагах пылали бревна, и в ярком свете пламени видны были богатые сбруи, сверкающие латы, турецкие панцири, мерцающие драгоценными камнями; кольчуги с золочеными пряжками, полупанцири, набрюшники, рынграфы, брони великой цены, шлемы польские и турецкие, а также мисюрские шапки с верхом из серебра. На противоположной стене развешены были щиты, к тому времени вышедшие из употребления, а рядом польские копья и восточные джириты; режущего оружия тоже было предостаточно – от сабель до кинжалов и ятаганов, рукояти которых, точно звездочки, мерцали, отражая свет, многими цветами. По углам висели связки шкур: лисьих, волчьих, медвежьих, куньих и горностаевых – трофеи ловитв княжичей. Ниже, вдоль стен, дремали на обручах ястребы, соколы и большие беркуты, привезенные из далеких восточных степей и незаменимые в облавах на волков.

Затем гости прошли в просторную гостевую горницу. И здесь в очаге под колпаком гудел ярый огонь, но тут было еще роскошнее, чем в сенях. Голые бревна стен завешаны были шитьем, на полу лежали дивные восточные ковры. Посередке стоял большой стол на крестовинах, сколоченный из простых досок, весь уставленный кубками венецейского стекла, золочеными или гравированными. У стен виднелись столы поменьше, комоды и поставцы, а на них – окованные бронзой шкатулки, ларцы, медные подсвечники и часы – все в свое время награбленное турками у венецианцев, а казаками у турок. Вся комната завалена была множеством роскошных вещиц, как правило неведомого хозяевам назначения. И всюду роскошь сосуществовала с заурядной степной неприхотливостью. Драгоценные турецкие комоды, инкрустированные бронзой, черным деревом и перламутром, стояли рядом с нестругаными полками, простые деревянные стулья – возле мягких диванов, покрытых коврами. Подушки, лежавшие по восточному обычаю на диванах, наволочки на себе имели из алтабаса или из голубой камки, но пухом была набита редко какая, в основном же сеном или гороховой соломой. Дорогие ткани и бесценные предметы – так называемое «добро», турецкое или татарское, – частью были куплены за гроши у казаков, частью захвачены во многих войнах еще старым князем Василем, частью – молодыми Бульгами в походах с низовыми, ибо княжичи предпочитали ходить на чайках в Черное море, чем жениться или присматривать за хозяйством. Все это не удивило пана Скшетуского, хорошо знавшего порубежные усадьбы, но валашский боярин диву давался, среди безмерного этого великолепия видя Курцевичей, обутых в яловичные сапоги и облаченных в кожу не многим лучше тех, какие носили слуги; удивлен тоже был и пан Лонгин Подбипятка, привыкший у себя на Литве к другим обычаям.

Молодые князья между тем принимали гостей радушно и в высшей степени обходительно, однако – мало бывавшие в свете – обнаруживали манеры столь неуклюжие, что наместник едва сдерживал улыбку.

Старший, Симеон, говорил:

– Душевно рады вашим милостям и благодарим за милость вашу. Наш дом – ваш дом, так что располагайтесь, как у себя. Кланяемся панам милостивцам под нашим кровом убогим.

И хоть не чувствовалось в тоне его ни малейшего самоуничижения, хоть не ощущалось, что принимает он людей более значительных, чем сам, тем не менее кланялся он по казацкому обычаю в пояс, а за ним кланялись и младшие братья, полагая, что того требует гостеприимство, и повторяя:

– Низко кланяемся вашим милостям и милости просим!..

Между тем княгиня, потянув за рукав Богуна, увела его в соседнюю комнату.

– Слышь, Богун, – сказала она торопливо, – на долгие разговоры у меня времени нету. Видала я, что ты на этого молодого шляхтича взъелся и ссоры с ним ищешь?

– *Mam!* – ответил казак, целуя старухину руку. – Свет широкий, ему одна дорога, мне другая. Я его не знаю и знать не хочу, только пусть он княжне ничего не шепчет, не то как ты меня тут видишь, так и он мою саблю увидит.

– Гей, сбесился, сбесился! А чем это ты думаешь, казаченьку? Что с тобою? Хочешь нас и себя погубить? Это ведь жолнер Вишневецкого и наместник, человек не простой, ибо от князя к хану с посольством ездил. Если волос с его головы упадет под нашим кровом, знаешь что будет? Воевода взор свой обратит на Разлоги, за него отомстит, нас на все четыре стороны выгонит, а Елену в Лубны возьмет – и что тогда? С ним тоже задираться станешь? Лубны воевать пойдешь? Попытайся, если кола захотел попробовать. Казаче непутевый!.. Глядит шляхтич на девку или не глядит, да только как приехал, так и уедет. И дело с концом. Так что изволь держать себя в руках, а не желаешь – поезжай, откуда приехал, потому как беду на нас накличешь!

Казак покусывал ус, сопел, но, однако же, понял, что княгиня говорит дело.

– Они завтра уедут, мать, – сказал он, – а я уж сдержуся; пускай только чернобровая к ним не выходит.

– А тебе что за дело? Хочешь, чтобы подумали, что я взаперти ее держу? Так выйдет же она, потому что я того желаю! А ты у меня в доме не распоряжайся, не хозяин небось!

– Не сердчайте, княгиня. Коли иначе не можно, так я буду для них слаще халвы турецкой. Зубом не скрипну, за саблю не схвачусь! Хоть бы меня злоба сожрала, хоть бы душа стоном зашлась! Будь по-вашему!

– А вот это разговор, соколик! Возьми торбан, сыграй, спой, у тебя и на душе легче станет. А теперь ступай к гостям.

Они вернулись в горницу, где князя, не зная, чем занять гостей, всё уговаривали их чувствовать себя как дома и в пояс кланялись. Скшетуский сразу же резко и гордо поглядел в глаза Богуну, но не обнаружил в них ни дерзости, ни вызова. Лицо молодого атамана светилося вежливой радостью, столь хорошо изображаемой, что она могла обмануть самый недоверчивый взгляд. Наместник внимательно приглядывался к атаману, так как раньше, в темноте, толком его не разглядел. Увидел он молодца стройного, как тополь, смуглолицего, с пышными черными висячими усами. Веселость на лице Богуна пробивалась сквозь украинскую задумчивость, точно солнце сквозь туман. Чело у атамана было высокое, но закрытое черной чуприною в виде челки, уложенной отдельными прядками и над густыми бровями постриженной ровными зубчиками. Орлиный нос, изогнутые ноздри и белые зубы, сверкавшие при каждой улыбке, придавали всему лицу выражение несколько хищное, но вообще был это тип красоты украинской, пылкой, броской и задорной. На диво превосходная одежда заметно отличала степного молодца от облаченных в козухи князей. На Богуне был жупан из тонкой серебряной парчи и алый кунтуш; цвета эти носили все переяславские казаки. Бедро ему опоясывал креповый кушак, с которого на шелковых перевязях свисала богатая сабля; причем и сабля, и костюм меркли рядом с заткнутым за пояс турецким кинжалом, рукоять которого столь была усеяна камнями, что сыпала во все стороны несметные искры. Человека, так одетого, всякий бы наверняка счел скорее панычем высокородным, чем казаком; к тому же свобода держаться и господские его манеры тоже не обнаруживали низкого происхождения. Подойдя к пану Лонгину, он выслушал историю о пращуре Стовейке и обезглавлении трех крестоносцев, а затем повернулся к наместнику и, словно между ними ничего не произошло, спросил совершенно непринужденно:

– Ваша милость, как я слышал, из Крыма возвращаешься?

– Из Крыма, – сухо ответил наместник.

– Бывал там и я. И хотя в Бахчисарае не заглядывал, но заглянуть надеюсь, ежели некоторые благоприятные подтвердятся известия.

– О каких известиях, сударь, говорить изволишь?

– Ходят слухи, что, если король наш милостивый войну с турчином начнет, князь-воевода в Крым с огнем и мечом пожалует, и слухам этим рады по всей Украине и на Низовье, ибо если не под его началом погуляем мы в Бахчисарае, тогда под чьим же еще?

– Погуляем, истинный бог! – откликнулись Курцевичи.

Поручику польстило уважение, с каким атаман отзывался о князе, поэтому он улыбнулся и сказал уже более мягким тоном:

– Твоей милости, как я погляжу, мало прославивших тебя походов с низовыми.

– Маленькая война – маленькая слава, великая война – великая слава. Конашевич Сагайдачный не на чайках, но под Хотинем ее добывал.

В эту минуту отворилась дверь и в комнату, ведомый под руку Еленой, тихо вошел Василь, самый старший из Курцевичей. Это был человек в зрелом возрасте, бледный, исхудалый, с напоминающим византийские лики отрешенным и печальным лицом. Длинные волосы, рано поседевшие от горестей и страданий, падали ему на плечи, вместо глаз видны были две красные ямы; в руке он держал медный крест, которым стал осенять комнату и всех присутствующих.

– Во имя Бога и Отца, во имя Спаса и Святой Пречистой! – заговорил слепой. – Если вы апостолы и благую весть несете, добро пожаловать под христианский кров. Аминь.

– Извините, судари, – буркнула княгиня. – Он не в своем уме.

Василь же, осеняя всех крестом, продолжал:

– Яко стоит в «Трапезах апостольских»: «Пролившие кровь за веру – спасены будут; погибшие ради благ земных, корысти ради или добычи – прокляты будут...» Помолитесь же! Горе вам, братья! Горе и мне, ибо за-ради добычи творили мы войну! Господи, помилуй нас, грешных! Господи, помилуй... А вы, мужи, издалека притекшие, какую весть несете? Апостолы ли вы?

Он умолк и, казалось, ждал ответа, поэтому наместник немного погодя отозвался:

– Недостойны мы столь высокого чина. Мы всего лишь солдаты, за веру умереть готовые.

– Тогда спасены будете! – сказал слепой. – Но не настал для нас еще день избавления...

Горе вам, братья! Горе мне!

Последние слова сказал он, почти стоная, и такое безмерное отчаяние написано было на его лице, что гости не знали, как себя повести. Тем временем Елена усадила слепого на стул, а сама, выскользнув в сени, тут же возвратилась с лютей.

Тихие звуки пронеслись по комнате, и, вторя им, княжна запела духовную песню:

Ночью и днем я взываю в надежде!  
Снижди к слезам и молениям усердным,  
Грешному стань мне отцом милосердным,  
Смилуйся, Боже!

Слепец откинул голову назад, вслушиваясь в слова, действовавшие на него, казалось, как целительный бальзам, ибо с измученного его лица постепенно исчезало выражение боли и страха; потом голова несчастного упала на грудь, и он остался сидеть, словно бы в полусне или полуоцепенении.

– Если песню допеть, он и вовсе успокоится, – тихо сказала княгиня. – Видите ли, судари, безумие его состоит в том, что он ждет апостолов; и, кто бы к нам ни приехал, он тотчас же выходит спрашивать, не апостолы ли...

Елена между тем продолжала:

Выведи, Господи, дух удрученный, –  
Он заплутал в бездорожной пустыне;  
Он одинок, как в безбрежной пучине  
Челн обреченный.

Нежный голос ее звучал все сильнее, и – с лютней в руках, с очами, вознесенными горе, – она была так пленительна, что наместник глаз с нее не сводил. Он загляделся на нее, утонул в ней и позабыл обо всем на свете.

Восхищение наместника было прервано старой княгиней:

– Довольно! Теперь он нес скоро проснется. А пока что прошу ваших милостей повечерять.

– Пожалте на хлеб и соль! – эхом отозвались на слова матери молодые Бульги.

Господин Розван, будучи галантнейшим кавалером, подал княгине руку, что увидев, пан Скшетуский двинулся тотчас к княжне Елене. Сердце, точно воск, растаяло в нем, когда он ощутил на своей руке ее руку. Глаза его засверкали, и он сказал:

– Похоже, что и ангелы небесные не поют сладостнее, любезная панна.

– Грех на душу берешь, рыцарь, равняя пение мое с ангельским, – ответила Елена.

– Не знаю, беру ли, но верно и то, что охотно дал бы я себе очи выжечь, лишь бы до смерти пение твое слушать. Однако что же я говорю! Слепцом не смог бы я видеть тебя, что тоже мука непереносимая.

– Не говори так, ваша милость: уехавши от нас завтра, завтра нас и позабудешь.

– О, не случится это, ведь я, любезная панна, так тебя полюбил, что до конца дней своих иного чувства знать не желаю, а этого – никогда не забуду.

Яркий румянец залил лицо княжны, грудь стала сильнее вздыматься. Она хотела что-то ответить, но только губы ее задрожали, – так что пан Скшетуский продолжал:

– Ты сама, любезная панна, тотчас забудешь меня с этим пригожим атаманом, который пению твоему на балалайке подыгрывать станет.

– Никогда! Никогда! – шепнула девушка. – Однако ты, ваша милость, берегись его: это страшный человек.

– Что мне там какой-то казак! Пусть бы и целая Сечь с ним вместе была, я на все ради тебя готов. Ты для меня драгоценность бесценная, ты свет мой, да вот узнать бы – взаимностью ли отвечают мне.

Тихое «да» райской музыкой прозвучало в ушах пана Скшетуского, и тотчас показалось наместнику, что в груди его не одно, а десять сердец бьется; мир предстал взору посветлевшим, точно солнечные лучи осветили все вокруг; пан Скшетуский ощутил в себе неведомую дотолу силу, словно бы за плечами его распахнулись крылья. За столом несколько раз мелькнуло лицо Богуна, сильно изменившееся и побледневшее, однако наместник, зная о взаимном к себе чувстве Елены, соперника теперь не опасался. «Да пошел он к дьяволу! – думал Скшетуский. – Пусть же и мешать не суется, не то я его уничтожу!» Но, вообще-то говоря, думал он совсем про другое.

Он чувствовал, что Елена сидит рядом, что она близко, что плечом своим он почти касается ее плеча; видел он румянец, не сходивший с пылко горевшего лица, видел волнующиеся перси, очи, то скромно опущенные долу и накрытые ресницами, то сверкавшие, словно две звезды. Елена, хоть и затравленная Курцевичихой, хоть и проводившая дни свои в сиротстве, печали и страхе, была, как ни говори, пылкой украинкою. Едва упал на нее теплый луч любви, она сейчас же расцвела, точно роза, и проснулась для новой, неведомой жизни. Она вся сияла счастьем и отвагой, и порывы эти, споря с девичьей стыдливостью, окрасили ланиты ее прелестным румянцем. А пан Скшетуский просто из кожи вон лез. Он пил, позабыв меру, но мед

не опьянял уже опьяневшего от любви. Никого, кроме деви своей, он за столом просто не замечал. Не видел он, что Богун бледнел все сильней и сильней, то и дело касаясь рукояти кинжала; не слышал, как пан Лонгин в третий раз принимался рассказывать о пращуре Стowejке, а Курцевичи – о своих походах за «турецким добром». Пили все, кроме Богуна, и лучший к тому пример подавала старая княгиня, поднимая кулявки то за здоровье гостей, то за здравие милостивого князя и господина, то, наконец, за господаря Лупула. Еще разговаривали о слепом Василе, о прежних его ратных подвигах, о злосчастном походе и теперешнем умопомрачении, каковое Симеон, самый старший, объяснял так:

– Сами, ваши милости, посудите, ежели малейшая соринка глазу глядеть мешает, то разве же большие куски смолы, в мозги попавши, не могут разум помутить?

– Очень тонкое оно *instrumentum*<sup>25</sup>, – рассудил пан Лонгин.

Между тем старая княгиня заметила изменившееся лицо Богуна:

– Что с тобою, сокол?

– Душа болит, *мати*, – хмуро ответил тот, – да казацкое слово не дым, так что я его сдержу.

– *Терпи, синку, могорич буде.*

Вечеря была закончена, но мед в кулявки наливать не переставали. Пришли то ж и казачки, позванные для пушого веселья плясать. Зазвенели балалайки и бубен, под звуки которых заспанным отрокам надлежало развлекать присутствующих. Затем и молодые Бульги пустились впрысядку. Старая княгиня, уперев руки в боки, принялась притопывать на одном месте, да приплясывать, да припевать, что завидя и пан Скшетуский пошел с Еленюю в танец. Едва он обнял ее, ему показалось, что сами небеса прижимает он к груди. В лихом кружении танца длинные девичьи косы обмотались вокруг его шеи, словно девушка хотела навсегда привязать к себе княжеского посланца. Не утерпел тут шляхтич, уллучил момент, наклонился и укладкою жарко поцеловал сладостные уста.

Поздно ночью, оставшись вдвоем с паном Лонгином в комнате, где им постлали, поручик, вместо того чтобы лечь спать, уселся на постели и сказал:

– С другим уже человеком завтра, ваша милость, в Лубны поедешь!

Подбипятка, как раз договоривший молитву, удивленно вытаращился и спросил:

– Это, значит, как же? Ты, сударь, здесь останешься?

– Не я, а сердце мое! Только *dulcis recordatio*<sup>26</sup> уедет со мною. Видишь ты меня, ваша милость, в великом волнении, ибо от желаний сладостных едва воздух *oribus*<sup>27</sup> ловлю.

– Неужто, любезный сударь, ты в княжну влюбился?

– Именно. И это так же верно, как я сижу перед тобою. Сон бежит от очей, и только вздохи желанны мне, от каковых весь я паром, надо думать, выветрюсь, о чем твоей милости поверяю, потому что, имея отзывчивое и ждущее любви сердце, ты наверняка муки мои поймешь.

Пан Лонгин тоже вздыхать начал, показывая, что понимает любовную пытку, и спустя минуту спросил участливо:

– А не обетовал ли и ты, любезный сударь, целомудрие?

– Вопрос таковой бессмыслен, ибо если каждый подобные обеты давать станет, то *genus humanum*<sup>28</sup> исчезнуть обречен.

Дальнейший разговор был прерван приходом слуги, старого татарина с быстрыми черными глазами и сморщенным, как сушеное яблоко, лицом. Войдя, он бросил многозначительный взгляд на Скшетуского и спросил:

<sup>25</sup> Приспособление (*лат.*).

<sup>26</sup> Сладостное воспоминание (*лат.*).

<sup>27</sup> Устами (*лат.*).

<sup>28</sup> Род человеческий (*лат.*).

– Не надобно ли чего вашим милостям? Может, меду по чарке перед сном?

– Не надо.

Татарин приблизился к Скшетускому и шепнул:

– Я, господин, к вашей милости с поручением от княжны.

– Будь же мне Пандаром! – радостно воскликнул наместник. – Можешь говорить при этом кавалере, ибо я ему во всем открылся.

Татарин достал из рукава кусок ленты:

– Панна шлет его милости господину эту перевязь и передать велела, что любит всею душою.

Поручик схватил шарф, в восторге стал его целовать и прижимать к груди, а затем, несколько успокоившись, спросил:

– Что она тебе сказать велела?

– Что любит его милость господина всею душою.

– Держи же за это талер. Значит, сказала, что любит меня?

– Сказала.

– Держи еще талер. Да благословит ее Господь, ибо и она мне самая разлюбезная. Передай же... или нет, погоди: я ей напишу; принеси-ка чернил, перьев да бумаги.

– Чего? – спросил татарин.

– Чернил, перьев и бумаги.

– Такого у нас в дому не держат. При князе Василе имелось; потом тоже, когда молодые князья грамоте у чернеца учились; да только давно уж это было.

Пан Скшетуский щелкнул пальцами:

– Дражайший Подбипятка, нету ли у тебя, ваша милость, чернил и перьев?

Литвин развел руками и вознес очи к потолку.

– Тьфу, черт побери! – сказал поручик. – Что же делать?

Татарин меж тем присел на корточки у огня.

– Зачем писать? – сказал он, шевеля угли. – Панна спать пошла. А что написать хотел, то завтра и сказать можно.

– Если так, что ж! Верный ты, как я погляжу, слуга княжне. Возьми же и третий талер. Давно служишь?

– Эге! Сорок лет будет, как князь Василь меня ясырем взял; и с того времени служил я ему верно, а когда ночью уезжал он неведомо куда, то дитя Константину оставил, а мне сказал: «Чехла! И ты девочку не оставь. Береги ее пуще глаза». Лаха иль алла!

– Так ты и поступаешь?

– Так и поступаю; в оба гляжу.

– Расскажи, чего видишь. Как здесь княжне живется?

– Недоброе тут задумали, Богуну ее хотят отдать, псу проклятому.

– Эй! Не бывать этому! Найдутся заступники!

– Дай-то бог! – сказал старик, раскидывая горящие головешки. – Они ее Богуну хотят отдать, чтобы взял и унес, как волк ягненка, а их в Разлогах оставил, потому что Разлоги ей, а не им после князя Василя оставлены. Он же, Богун этот, на такое согласен, ведь по чащобам у него сокровищ больше спрятано, чем песка в Разлогах; да только ненавидит она его с тех пор, как при ней он человека чеканом разрубил. Кровь пала меж них и ненавистью проросла. Нет бога, кроме Бога!

Уснуть в ту ночь наместник не мог. Он ходил по комнате, глядел на луну и обдумывал разные планы. Теперь было ясно, что замышляют Бульги. Возьми за себя княжну какой-нибудь соседний шляхтич, он бы востребовал и Разлоги, и был бы прав, так как они принадлежали ей, а то и поинтересовался бы еще отчетом по опеке. Вот почему Бульги, сами давно оказавшиеся, решили отдать девушку казаку. От этой мысли пан Скшетуский стис-

кивал кулаки и порывался схватить меч. Он решил разоблачить низкие козни и чувствовал в себе силы совершить это. Ведь попечительство над Еленой осуществлял и князь Иеремия: во-первых, потому, что Разлоги были пожалованы старому Василию Вишневецкими, а во-вторых, потому, что сам Василь писал из Бара князю, умоляя о попечении. Лишь будучи занят обширными своими трудами, походами и предприятиями, воевода до сих пор не сумел озаботиться опекою. Но достаточно будет ему напомнить, и справедливость восторжествует.

В Божьем мире уже светало, когда Скшетуский повалился на постель. Спал он крепко и скоро проснулся с готовым решением. Они с паном Лонгином спешно оделись, поскольку телеги стояли уже наготове, а солдаты пана Скшетуского сидели в седлах, готовые к отъезду. В гостевой горнице посол подкреплялся похлебкою в обществе Курцевичей и старой княгини; не было только Богуна: спал ли он еще или уехал – было неясно.

Поевши, Скшетуский сказал:

– Сударыня! *Tempus fugit*<sup>29</sup>, вот-вот и на коней сядем, но прежде, чем от всего сердца поблагодарить за гостеприимство, хотел бы я об одном важном деле с вашей милостью, сударыня, и с их милостями, сыновьями твоими, доверительно переговорить.

На лице княгини изобразилось удивление; она поглядела на сыновей, на посла и на пана Лонгина, словно бы по их виду собираясь угадать, о чем речь, и с некоторою тревогой в голосе сказала:

– Покорная слуга вашей милости.

Посол хотел удалиться, но она ему не позволила, а сама с сыновьями и наместником перешла в уже известные нам, увешанные доспехами и оружием сени. Молодые князья расположились в ряд за спиною матери, а она, стоя перед Скшетуским, спросила:

– О каком же деле, ваша милость, говорить желаешь?

Наместник быстро, почти сурово поглядел на нее:

– Прости, сударыня, и вы, молодые князья, что противу обычая, вместо того чтобы через достойных послов действовать, сам в деле своем ходатаем буду. Увы, другою возможностью не располагаю, а раз чему быть, того не миновать, то без долгого кунктаторства представляю вашей милости, сударыня, и вашим милостям, как опекунам, мою покорную просьбу – соблаговолить княжну Елену мне в жены отдать.

Если бы в минуту эту, в зимний этот день, молния ударила в майдан Разлогов, она бы произвела на княгиню с сыновьями впечатление меньшее, чем слова наместника. Какое-то время они с изумлением глядели на гостя, а тот, прямой, спокойный и на удивление гордый, стоял перед ними, словно бы не просить, но повелевать намеревался. Не зная, что ответить, княгиня принялась спрашивать:

– Как это? Вам, сударь? Елену?

– Мне, любезная сударыня. И это мое твердое намерение!

С минуту все молчали.

– Жду ответа вашей милости, сударыня.

– Прости, милостивый государь, – ответила, несколько придя в себя, княгиня, и голос ее стал сух и резок. – Просьба такого кавалера – честь для нас немалая, да только ничего из этого не получится, ибо Елену обещала я уже другому.

– Однако подумай, сударыня, как заботливая опекунша, – не будет ли это против воли княжны и не лучше ли я того, кому ты ее, сударыня, обещала.

– Милостивый государь! Кто лучше, судить мне. Возможно, ты и лучше, да нам-то что, раз мы тебя не знаем.

На эти слова наместник выпрямился еще горделивей, а взгляды его сделались ножа острее, хотя и оставались холодными.

---

<sup>29</sup> *Время бежит (лат.).*

– Зато я знаю вас, негодяи! – рявкнул он. – Хотите кровную свою мужику отдать, лишь бы он вас в незаконно присвоенном имени оставил...

– Сам негодяй! – крикнула княгиня. – Так-то ты за гостеприимство платишь? Такую благодарность в сердце питаешь? Ах, змей! Каков! Откуда же ты такой взялся?

Молодые Курцевичи, прищелкивая пальцами, стали на стены, словно бы выбирая оружие, поглядывать, а наместник воскликнул:

– Нехристи! Прибрали к рукам сиротское достояние, но погодите! Князь про это уже завтра знать будет!

Услыхав такое, княгиня отступила в угол сеней и, схватив рогатину, пошла на наместника. Князя тоже, похватав кто что мог – саблю, кистень, нож, – окружили его полукольцом, дыша, как свора бешеных волков.

– Ко князю пойдешь? – закричала княгиня. – А уйдешь ли живым отсюда? А не последний ли это час твой?

Скшетуский скрестил на груди руки и бровью не повел.

– Я в качестве княжеского посла возвращаюсь из Крыма, – сказал он, – и ежели тут хоть одна капля крови моей будет пролита, то через три дня от места этого и пепла не останется, а вы в лубненских темницах сгниете. Есть ли на свете сила, какая бы вас могла спасти? Не грозитесь же, не испугаете!

– Пусть мы погибнем, но подохнешь и ты!

– Тогда бей! Вот грудь моя.

Князя, предводительствуемые матерью, продолжали держать клинки нацеленными в наместникову грудь, но видно было, что некие незримые узы не пускали их. Сопя и скрежеща зубами, Бульги дергались в бессильной ярости, однако удара никто не наносил. Сдерживало их страшное имя Вишневецкого.

Наместник был хозяином положения.

Бессильный гнев княгини обратился теперь в поток оскорблений:

– Проходимец! Мелюзга! Голодранец! С князьями породниться захотел, так ничего же ты не получишь! Любому, только не тебе, отдадим, в чем нам и князь твой не указчик!

На что пан Скшетуский:

– Не время мне свое родословие рассказывать, но полагаю, что ваше княжеское сиятельство преспокойно могло бы за ним щит с мечом таскать. К тому же если мужик вам хорош, то уж я-то получше буду. Что же касается достатков моих, то и они могут с вашими поспорить, а если даром Елену мне отдавать не хотите, не беспокойтесь – я тоже вас оставлю в Разлогах, расчетов по опеке не требуя.



*– Ко князю пойдешь? – закричала княгиня. – А уйдешь ли живым отсюда? А не последний ли это час твой?*

*– Не дари тем, что не твое.*

– Не дарю я, но обязательство на будущее даю и в том ручаюсь словом рыцарским. Так что выбирайте – или князю отчет по опеке представите и от Разлогов отступитесь, или мне Елену отдадите, а имение удержите...

Рогатина медленно выскальзывала из княгининых рук и наконец со стуком упала на пол.

– Выбирайте! – повторил пан Скшетуский. – *Aut расем, aut bellum!*<sup>30</sup>

– Счастье же, – несколько мягче сказала Курцевичиха, – что Богун с соколами уехал, не имея желания на ваших милостей глядеть; он уже вечер что-то заподозрил. Иначе без кровопролития не обошлось бы.

– Так ведь и я, сударыня, саблю не для того ношу, чтобы пояс оттягивала.

– Да разве гоже такому кавалеру, войдя по-доброму в дом, так на людей набрасываться и девку, словно из неволи турецкой, силой отбирать.

– А отчего же нет, если она в неволе холопу должна быть продана?

– Такого, сударь, ты про Богуна не говори, ибо он хоть родства и не знает, но воин прирожденный и рыцарь знаменитый, а нам с малолетства известен и как родной в доме. Ему девку не отдать или ножом ударить – одна боль.

– А мне, любезная сударыня, ехать пора, поэтому прощения прошу, но еще раз повторяю: выбирайте!

Княгиня обратилась к сыновьям:

– А что, сынки, скажете вы на столь покорнейшую просьбу любезного кавалера?

Бульги поглядывали друг на дружку, подталкивали один другого локтями и молчали.

Наконец Симеон буркнул:

– Велишь бить, *мати*, так будем, велишь отдать девку, так отдадим.

– Бить – худо и отдать – худо.

Потом, обратившись к Скшетускому, сказала:

– Ты, сударь, так нас прижал, что хоть лопни. Богун – человек бешеный и пойдет на все. Кто нас от его мести оборонит? Сам погибнет от князя, но сперва нас погубит. Как же мне быть?

– Ваше дело.

Княгиня какое-то время молчала.

– Слушай же, сударь-кавалер. Все это должно в тайне остаться. Богуна мы в Переяслав отправим, сами с Еленой в Лубны поедем, а ты, сударь, упросишь князя, чтобы он нам охрану в Разлоги прислал. У Богуна поблизости полтораста казаков, часть из них у нас на постое. Сейчас ты Елену взять не можешь, потому что он ее отобьет. Иначе оно быть не может. Поезжай же, никому не говоря ни слова, и жди нас.

– А вы обманете.

– Да кабы мы могли! Сам видишь, не можем. Дай слово, что секрет до времени сохранишь!

– Даю. А вы девку даете?

– Мы ж не можем не дать, хотя нам Богуна и жаль...

– Тьфу ты! Милостивые государи, – внезапно сказал наместник, обращаясь к князьям, – четверо вас, аки дубы могучих, а одного казака испугались и коварством его провести хотите. Хоть я вас и благодарить должен, однако скажу: не годится достойной шляхте так жить!

– Ты, ваша милость, в это не мешайся, – крикнула княгиня. – Не твое это дело. Как нам быть-то прикажешь? Сколько у тебя, сударь, жолнеров против полутораста его казаков? Защи-тишь ли нас? Защитишь ли хоть Елену, которую он силой умыкнуть готов? Не твоей милости это дело. Поезжай себе в Лубны, а что мы станем делать – это знать нам, лишь бы мы тебе Елену доставили.

<sup>30</sup> Или мир, или войну! (*лат.*)

– Поступайте как хотите. Одно только скажу: если тут княжне какая кривда будет – горе вам!

– Не говори же с нами так, не выводи ты нас из себя.

– А не вы ли над нею насилие учинить хотели, да и теперь, продавая ее за Разлоги, вам и в голову не пришло спросить: будет ли ей по сердцу моя персона?

– Вот и спросим при тебе, – сказала княгиня, сдерживая закипавший снова гнев, ибо отлично улавливала презрение в словах наместника.

Симеон пошел за Еленой и спустя некоторое время с нею вернулся.

Среди громов и угроз, которые, точно отзвуки стихающей бури, казалось, сотрясали еще воздух, среди насупленных этих бровей, яростных взглядов и суровых лиц прелестный облик девушки воссиял, словно солнце после бури.

– Сударыня-панна! – хмуро сказала ей княгиня, указывая на Скшетуского. – Ежели будет к тому твоя охота, то вот он, твой будущий муж.

Елена побелела как мел, с криком закрыла глаза руками, а потом внезапно протянула ладони к Скшетускому.

– Правда ли? – шепнула она в упоении.

Час спустя эскорт посла и отряд наместника неспешно шли лесною дорогой по направлению к Лубнам. Скшетуский с паном Лонгином Подбипяткой ехали в челе, за ними долгою вереницею тянулись посольские повозки. Наместник вовсе был погружен в печаль и размышления, когда вырвали его вдруг из раздумий оборвавшиеся слова песни:

Тужу, тужу, сердце болить...

В глубине леса на узкой, наезженной крестьянами тропке показался Богун. Конь его был в мыле и грязи.

Видно, казак по привычке своей пустился в степи и чащобы, захмелеть от ветра, затеяться да забыться в просторах и то, отчего душа болела, переболеть.

Теперь он возвращался в Разлоги.

Глядя на великолепную эту, поистине рыцарскую фигуру, мелькнувшую вдалеке и сразу же пропавшую, пан Скшетуский на миг задумался и пробормотал:

– Да уж... счастье, что он кого-то на ее глазах располовинил...

Но тут словно бы сожаление стиснуло сердце, словно бы стало ему Богуна жаль, но еще более пожалел он, что, связанный данным княгине словом, не мог сразу же, не мешкая погнать коня вслед казаку и сказать: «Мы любим одну, а значит, один из нас на свете лишний! Доставай, казаче, саблю!»

## Глава V

Прибывши в Лубны, пан Скшетуский князя не застал, так как тот к пану Суффчинскому, старому своему дворянину, в Сенчу уехал. С князем отбыли княгиня, обе панны Збаражские и множество особ, состоявших при дворе. В Сенчу немедленно дано было знать о возвращении наместника из Крыма и прибытии посла. Между тем знакомые и сотоварищи радостно приветствовали Скшетуского после долгой разлуки, а более других пан Володыёвский, который после их очередного поединка сделался самым близким другом наместнику. Кавалер сей отличался тем, что постоянно бывал влюблен. Убедившись в коварстве Ануси Борзобогатой, он обратил свое нежное сердце к Анеле Ленской, тоже панне из фрауциммера, но, когда и она буквально месяц назад обвенчалась с паном Станишевским, Володыёвский, чтобы утешиться, принялся вздыхать по старшей княжне Збаражской – Анне, племяннице князя Вишневецкого.

Увы, он и сам понимал, что, столь высоко замахнувшись, не мог и малейшей питать надежды, тем более что от имени пана Пшиемского, сына ленчицкого воеводы, уже заявили сватать княжну пан Бодзинский и пан Ляссота. Поэтому злосчастный Володыёвский сообщил нашему наместнику новые свои огорчения, посвящая его в придворные дела и тайны, что последний выслушивал краем уха, имея мысль и сердце занятые другим. Когда бы не душевное смятение это, любви, хоть и взаимной, всегда сопутствующее, Скшетуский был бы совершенно счастлив, после долгой отлучки вернувшись в Лубны, где его окружили друзья и кутерьма привычной с давних лет солдатской жизни. Лубны, будучи княжеским замком-резиденцией и великолепием своим не уступая любым резиденциям «королят», отличались все же тем, что житье здесь было суровым, почти походным. Кто не знал здешних порядков и обычаев, тот, приехав даже в наиспокойнейшую пору, мог подумать, что тут к какой-то военной кампании готовятся. Солдат преобладал здесь числом над дворянином, железо предпочиталось золоту, голос бивачных труб – шуму пиров и увеселений. Повсюду царил образцовый порядок и неведомая нигде более дисциплина; повсюду не счесть было рыцарства, приписанного к различным хоругвям: панцирным, драгунским, казацким, татарским и валашским, в которых служило не только Заднепровье, но и охочекомонная шляхта со всех концов Речи Посполитой. Всяк стремившийся пройти науку в подлинно рыцарской школе влекся в Лубны; так что наряду с русинами были тут и мазуры, и литва, и малополяне, и даже – что совсем уж удивительно – пруссаки. Пехотные регименты и артиллерия, иначе называемая «огневой люд», сформированы были в основном из опытейших немцев, нанятых за высокое жалованье; в драгунах служили, как правило, местные. Литва – в татарских хоругвах. Малополяне записывались охотнее всего под панцирные знамена. Князь не давал рыцарству бездельничать; в лагере не прекращалось постоянное движение. Одни полки уходили сменить гарнизоны в крепостцы и заставы, другие возвращались в Лубны; целыми днями проводились учения и муштра. Время от времени, хотя от татар беспокойства не ожидалось, князь предпринимал далекие вылазки в глухие степи и пустыни, чтобы приучить солдат к походам и, добравшись туда, куда до сих пор никто не добирался, разнести славу имени своего. В прошлую осень, к примеру, идучи левым берегом Днепра, пришел он до самого Кудака, где пан Гродзицкий, начальник тамошнего гарнизона, принимал его как удельного монарха; потом пошел вдоль порогов до самой Хортицы, а на Кичкасовом урочище велел груды огромную из камней насыпать в память и в знак того, что этой дорогою ни один еще властелин не забирался столь далеко<sup>31</sup>.

Пан Богуслав Маскевич, жолнер добрый, хотя в молодых годах, к тому же и человек ученый, описавший, как и прочие княжеские походы, предприятие это, рассказывал о нем дива дивные, а пан Володыёвский незамедлительно все подтверждал, ибо тоже ходил с ними. Пови-

<sup>31</sup> Это слова Маскевича, который мог не знать о пребывании на Сечи Самуэля Зборовского. (Примеч. автора.)

дали они пороги и поражались им, особенно же страшному Ненасытцу, который всякий год, как некогда Сцилла и Харибда, по несколько десятков человек пожирал. Потом повернули на восток, в степные гари, где из-за недогарков конница ступить даже не могла, так что приходилось лошадям ноги кожами обматывать. Видали они там множество гадов-желтобрюхов и огромных змей полозов длиною в десять локтей и толщиной с мужскую руку. По дороге вырезали они на одиноких дубах *pro aeterna rei memoria*<sup>32</sup> княжеские гербы и наконец достигли такой глуши, где нельзя было приметить и следов человеческих.

– Я даже подумывал, – рассказывал ученый пан Маскевич, – что нам в конце концов, как Улиссу, и в Гадес сойти придется.

На что пан Володыёвский:

– Уже и люди из хоругви пана стражника Замойского, которая шла в авангарде, клялись, что видели те самые *finis*<sup>33</sup>, на каковых *orbis terrarum*<sup>34</sup> кончается.

Наместник в свою очередь рассказывал товарищам про Крым, где пробыл почти полгода в ожидании ответа его милости хана, про тамошние города, с древних времен существующие, про татар, про их военную силу и, наконец, про страх, в какой они впали, узнав о решающем походе на Крым, в котором все силы Речи Посполитой должны будут участвовать.

Так проводили они в разговорах вечера, ожидая князя; еще наместник представил близким друзьям пана Лонгина Подбиятку, который, как человек приятнейший, сразу пришелся всем по сердцу, а показавши во владении мечом сверхчеловеческую силу свою, завоевал всеобщее уважение. Кое-кому рассказал уже литвин и о предке Стowejке, и о трех срубленных головах, единственно насчет своего обета умолчал, ибо не хотел сделаться объектом шуток. Особенно подружились они с Володыёвским по причине, как видно, схожей сердечной чувствительности; уже спустя несколько дней ходили они вместе вздыхать на вал – один по поводу звездочки, мерцавшей слишком высоко и потому недостижимой, *alias*<sup>35</sup> по княжне Анне, второй – по незнакомке, от которой отделяли его три обетованные головы.

Звал даже Володыёвский пана Лонгина в драгуны, но литвин бесповоротно решил записаться в панцирные, чтобы служить под Скшетуским, не без удовольствия узнав в Лубнах, что тот считается рыцарем без страха и упрека и одним из лучших княжеских офицеров. К тому же в хоругви, где пан Скшетуский был поручиком, открывалась ваканция после пана Закревского, прозванного *Miserere mei*<sup>36</sup>, который вот уже две недели тяжело болел и был безнадежен, ибо от сырости все раны его пооткрывались. Так что к сердечной тоске наместника добавилась еще печаль по поводу предстоящей потери старого товарища и многоопытного друга, и по несколько часов в день Скшетуский ни на шаг не отходил от больного, утешая беднягу и вселяя в него надежду, что не в одном еще походе повоюют они.

Но старик в утешениях не нуждался. Он весело умирал на жестком рыцарском ложе, обтянутом лошадиною шкурою, и с почти детской улыбкой глядел на распятие, висевшее на стене. Скшетускому же отвечал:

– *Miserere mei*, ваша милость поручик, а я пойду себе по свой небесный кошт. Тело мое уж очень от ран дырявое, и опасуюсь я, что святой Петр, каковой является маршалом Божиим и за благолепием в небесах приглядывать обязан, не пустит меня в столь дырявой оболочке в рай. Но я скажу: «Святой Петруша! Заклинаю тебя ухом Малховым не отвращаться, ведь это же поганые испортили мне одежду телесную... *Miserere mei!* А ежели будет какой поход святого Михаила на адское воинство, так старый Закревский еще пригодится!»

---

<sup>32</sup> Вечной памяти ради (*лат.*).

<sup>33</sup> Рубежи (*лат.*).

<sup>34</sup> Круг земель (*лат.*).

<sup>35</sup> Сиречь (*лат.*).

<sup>36</sup> Помилуй мя (*лат.*).

Вот почему поручик, хотя, будучи солдатом, много раз и сам смерть видел, и бывал причиною чужой смерти, не мог сдержать слез, слушая старика, кончина которого была подобна тихому солнечному закату.

И вот как-то поутру колокола всех лубненских костелов и церквей возвестили о смерти Закревского. Как раз в этот день приехал из Сенчи князь, а с ним господа Бодзинский, Ляссота, весь двор и множество шляхты в нескольких десятках карет, так как съезд у пана Суффчинского был немалый. Князь, желая отметить заслуги покойного и показать, сколь ценит он людей рыцарского склада, устроил пышные похороны. В траурном шествии участвовали все полки, стоявшие в Лубнах, на валу палили из ручных пищалей и мушкетов. Кавалерия шла по городу от замка до приходского костела в боевом строю, но с зачехленными знаменами; за нею, держа ружья дулами вниз, следовали пехотные полки. Князь в трауре ехал за гробом в золоченой карете, запряженной осьмериком белых как снег лошадей с выкрашенными в пунцовый цвет гривами и хвостами и с пучками черных страусовых перьев на макушках. Впереди кареты следовал отряд янычар – личная охрана князя, а позади на превосходных лошадях – пажи, одетые на испанский манер; за ними высокие придворные сановники, стремянные дворяне, камердинеры, наконец, гайдуки и выездные лакеи. Процессия остановилась сперва у дверей приходского костела, где ксендз Яскульский встретил гроб речью, начинавшейся: «Куда ты уходишь от нас, досточтимый Закревский?» Потом сказали прощальные слова некоторые из присутствующих, а среди них и Скшетуский, как начальник и друг покойного. Затем гроб внесли в костел, и тут наконец произнес речь златоуст из златоустов, ксендз-иезуит Муховецкий, говоривший столь возвышенно и красиво, что сам князь прослезился, ибо был повелитель с весьма отзывчивым сердцем и отец солдатам. Дисциплины спрашивал он железной, но в щедрости, ласковом отношении к людям и благорасположении, которыми дарил не только солдат своих, но и жен их с детьми, с ним никто не мог равняться. К бунтарям грозный и безжалостный, был он истинным благодетелем не только шляхте, но и всем своим подданным. Когда о сорок шестом годе саранча поела урожай, он за целый год спустил чиншевикам уплату чинша, народу же распорядился выдавать зерно из закромов, а после хорольского пожара всех горожан два месяца содержал на свой счет. Арендаторы и подстаросты в экономиях трепетали, как бы до княжеских ушей не дошли жалобы о каких-либо злоупотреблениях или обидах, народу чинимых. Сиротам обеспечивалось такое попечение, что на Заднепровье называли их «княжьими дитынами». За этим присмотр осуществляла сама княгиня Гризельда, имея в помощниках отца Муховецкого. И царили по всем княжьим уделам достаток, лад, справедливость, спокойствие, но и страх тоже, ибо довольно было малейшего неповиновения, и князь не знал удержу в гневе и наказаниях; так в натуре его сочетались великодушие с суровостью. А в те времена и в тех краях подобная суровость только и давала возможность житью и усердию человеческому укореняться и пускать побеги, только благодаря ей возникали города и села, хлебопашец одерживал верх над грабителем, купец безмятежно вел свою торговлю, колокола мирно созывали верующих на молитву, враг не смел нарушить рубежа, разбойные шайки или гибли на колах, или преобразались в регулярных солдат, а пустынный край процветал.

Дикой земле и диким обитателям ее именно такая рука и была нужна, ведь с Украйны на Заднепровье тянулся самый беспокойный народ: шли поселенцы, привлекаемые наделом и тучностью земли, беглые крестьяне со всех концов Речи Посполитой, преступники, сбежавшие из узилищ, словом, как сказал бы Ливий: «*Pastorum convenarumque plebs transfuga ex suis populis*»<sup>37</sup>. Держать их в узде, превратить в мирных поселенцев и привить вкус к оседлой жизни только и мог такой лев, от рыка которого всё трепетало.

Пан Лонгинус Подбиятка, впервые в жизни князя на похоронах увидав, собственным глазам не поверил. Будучи столько наслышан о его славе, он воображал князя неким испо-

<sup>37</sup> «Толпы пастухов и всякого сброда, перебежчиков из своих племен» (лат.).

лином, статью обыкновенных людей превосходящим, а князь оказался роста скорее низкого и довольно худощав. Он был еще молод, будучи всего-навсего тридцати шести лет, однако на лице его уже лежал отпечаток ратных трудов. Насколько в Лубнах жил он по-королевски, настолько во время частых вылазок и походов делил невзгоды простого солдата: ел черный хлеб и спал, постлав на земле войлок; и если большая часть жизни его проходила именно в ратных трудах, то они и отразились на его облике. Во всяком случае, с первого взгляда было ясно, что это внешность человека исключительного. В ней чувствовались железная, негибкая воля и величие, перед которым всякий невольно вынужден был склонить голову. Ясно было, что человек этот знает и свою силу, и свое величие, и, возложив завтра на него корону, он не удивится и не согнется под ее тяжестью. Глаза у князя были большие, спокойные, можно даже сказать, приятные, но казалось, что дремлют в них громы, и всякий знал – горе тем, кто эти громы разбудит. Между прочим, никто не мог выдержать спокойный блеск этого взгляда, и, случалось, послы или бывалые придворные, явившись пред очи Иеремии, терялись и затруднялись слово сказать. И был он на своем Заднепровье подлинным королем. Из канцелярии его шли привилегии и жалованные грамоты: «Мы, Божьей милостию князь и господин» и т. д. Немногих тоже и воевод ясновельможных полагал он равными себе. Князья, происходившие от старинных могущественных родов, служили у него в маршалках. Взять хотя бы отца Елены, Василя Булыгу-Курцевича, родословная которого, как поминалось выше, велась от Кориата, а на самом деле от самого Рюрика.

Было в князе Иеремии что-то, что, несмотря на свойственную ему доброжелательность, заставляло людей оставаться на расстоянии. Расположенный всем сердцем к солдатам, он держал себя с ними совершенно по-свойски, с ним же фамильярничать никто не смел. И тем не менее рыцарство, прикажи он кинуться верхом с днепровских круч, сделало бы это не раздумывая.

От матери-валашки унаследовал он белокожесть, схожую с белизной раскаленного железа, пышущего жаром, и черные, цвета воронова крыла, волосы, которые, по всей почти голове обритые, буйно устремлялись на чело и, остриженные над бровями, наполовину лоб закрывали. Одевался он в польский костюм, но об одежде не очень заботился и лишь по большим праздникам облачался в богатое платье, весь тогда сверкая золотом и драгоценностями. Пан Лонгин несколькими днями позже присутствовал на подобном торжестве. Князь принимал господина Розвана Урсу. Посольские аудиенции происходили всегда в так называемой голубой зале, так как на потолке ее свод небесный купно со звездами кистью гданьчанина Хелма был изображен. Князь, как обычно в таких случаях, восседал под балдахином из бархата и горностаев на высоком, напоминающем трон, стуле, подножие которого было оковано позолоченным металлом. Позади князя стояли ксендз Муховецкий, секретарь, маршалок князь Воронич, пан Богуслав Маскевич, а затем пажи и двенадцать одетых на испанский манер драбантов с алебардами; зала же была переполнена рыцарством в роскошных одеждах и уборах. Господин Розван от имени господаря просил князя влиянием своим и наводящим страх именем добиться от хана запрещения буджакским татарам учинять набеги на Валахию, которыми они каждый год ужасный урон и опустошения причиняли; на что князь ответил на превосходной латыни, что буджаки, мол, не очень-то и самому хану послушны, но все-таки, поскольку в апреле ожидается Чауш-мурза, ханский посол, то через него и будет передан хану соответствующий запрос касательно валашских обид. Пан Скшетуский предварительно уже сделал реляцию о своем посольстве и путешествии, а также обо всем, что слышал о Хмельницком и бегстве последнего на Сечь. Князь принял решение перевести несколько полков поближе к Кудаку, но особого значения делу этому не придавал. А раз ничто, казалось, не угрожало покою и могуществу заднепровской державы, в Лубнах начались празднества и увеселения как в честь пребывания посла Розвана, так и по случаю того, что господа Бодзинский и Ляссота торжественно попро-

сили от имени воеводского сына Пшиемского руку старшей княжны Анны, на каковую просьбу получили и от князя, и от княгини Гризельды ответ благоприятный.

Один лишь не вышедший ростом Володыёвский страдал среди всеобщего оживления, а когда Скшетуский попытался ободрить его, ответил:

– Тебе хорошо! Стоит тебе захотеть, и Ануся Борзобогатая тут как тут будет. Уж она очень благосклонно тебя все время вспоминала; я подумал было, чтобы ревность в Быховце *excitare*<sup>38</sup>, но теперь вижу, что его задумала она до петли довести и только к тебе одному, пожалуйста, нежный в сердце сантимент питает.

– Да при чем тут Ануся! Можешь за ней снова ухаживать – *non prohibeo*<sup>39</sup>. Но о княжне Анне и думать забудь, ибо это все равно что жар-птицу в гнезде шапкой накрыть.

– Ох, знаю, знаю, что она жар-птица, и от горести поэтому умереть мне, как видно, суждено.

– Ничего, выживешь и тотчас влюбишься; только в княжну Барбару не вздумай, потому что у тебя из-под носа ее другой воеводич уташит.

– Ужели сердце – казачок, которому приказывать можно? Ужели очам запретишь созерцать столь дивное создание, княжну Барбару, вид которой даже зверя дикого взволновать способен?

– Вот те на! – воскликнул пан Скшетуский. – Вижу я, что ты и без моих советов утешься, но повторяю: вернись к Анусе, ибо с моей стороны никаких помех не будет.

Ануся о Володыёвском, однако, не думала. Зато интриговало, дразнило и злило Ануся равнодушие пана Скшетуского, который, возвратившись после столь долгой отлучки, даже и не взглянул на нее. Поэтому по вечерам, когда князь с приближенными офицерами и дворянами приходил в гостиную княгини развлечься беседою, Ануся, выглядывая из-за спины своей госпожи (княгиня была высокая, а она махонькая), сверлила черными своими глазами наместника, пытаясь угадать причину. Однако взор Скшетуского, а также и мысли пребывали невесь где, а если взгляд его и обращался к девушке, то такой задумчивый и отсутствующий, словно бы поручик глядел не на ту, которой в свое время пел:

Ты жесточе, чем орда,  
Corda полонишь всегда!..

«Что с ним?» – спрашивала себя избалованная вниманием любимица всего двора и, топнув маленькой ножкою, принимала решение в этом деле разобраться. Если говорить по совести, в Скшетуского она влюблена не была, однако, привыкнув к поклонению, не могла вынести равнодушия к своей особе и от злости готова была сама влюбиться в нахала.

И вот однажды, спеша с мотками пряжи к княгине, она столкнулась со Скшетуским, выходящим из расположенной рядом спальни князя. Ануся налетела, как вихрь, можно даже сказать – задела его грудью и, сделав поспешный шаг назад, воскликнула:

– Ах! Вы так меня испугали! Здравствуйте, сударь!

– Здравствуйте, панна Анна! Неужели же я такое *monstrum*<sup>40</sup> и людей пугаю?

Девушка, теребя пальцами свободной руки косу и переступая с ножки на ножку, опустила глаза и, словно бы растерявшись, с улыбкой ответила:

– Ой нет! Это уж нет... вовсе нет... клянусь матушкиным здоровьем!

И она быстро глянула на поручика, но тотчас же опять опустила глаза:

– Может быть, сударь, ты гневаешься на меня?

---

<sup>38</sup> Возбудить (*лат.*).

<sup>39</sup> Не возбраняю (*лат.*).

<sup>40</sup> Чудовище (*лат.*).

– Я? А разве панну Анну мой гнев заботит?

– Заботит? Ну нет! Тоже мне забота! Уж не полагаешь ли ты, сударь, что я плакать стану?

Пан Быховец куда любезнее...

– Когда так, мне остается только уступить поле боя пану Быховцу и исчезнуть с глаз долой.

– А я разве держу?

И Ануся загородила ему дорогу.

– Так ты, сударь, из Крыма вернулся? – спросила она.

– Из Крыма.

– А что ты, ваша милость, отсюда привез?

– Пана Подбиятку. Разве панна Анна его не видела? Очень приятный и достойный кавалер.

– Уж наверняка приятнее вашей милости. А зачем он сюда приехал?

– Чтобы панне Анне было на ком чары испытывать. Но я советую братья за дело всерьез, ибо знаю нечто, из-за чего кавалер сей неприступен, и даже панна Анна с носом останется.

– Отчего же это он неприступен?

– Оттого, что не имеет права жениться.

– Да мне что за дело? А отчего он не имеет права жениться?

Скшетуский наклонился к уху девушки, но сказал очень громко и четко:

– Оттого, что поклялся оставаться в непорочности.

– Вот и неумно, сударь! – воскликнула Ануся и мгновенно упорхнула, словно всполошенная пташка.

Однако уже вечером она впервые внимательно пригляделась к пану Лонгину. Гостей в тот день собралось немало, поскольку князь устраивал прощальный прием пану Бодзинскому. Наш литвин, тщательно одетый в белый атласный жупан и темно-голубой бархатный кунтуш, выглядел очень внушительно, тем более что у бедра его вместо палаческого Сорвиглавца висела легкая кривая сабля в золоченых ножнах.

Глазки Ануси назло Скшетускому умышленно поглядывали на пана Лонгина. Наместник бы и не заметил этого, если б Володыёвский не толкнул его локтем и не сказал:

– Попадись я татарам, если Ануся не заигрывает с хмелевой литовской подпоркой.

– А ты ему скажи про это.

– И скажу. Подходящая из них пара.

– Он ее вместо шпильки на жупане приспособит, в самый раз придется.

– Или вместо кисточки на шапке.

Володыёвский подошел к литвину.

– Сударь! – сказал он. – Ты, ваша милость, к нам недавно, а повеса каких поискать.

– Как так, благодетель-братушка? Отчего ж?

– Оттого, что лучшей девке из фрауцимера голову вскружил.

– Сударик мой! – сказал Подбиятка, сложив руки. – Что это ты такое говоришь?

– А ты погляди, как панна Анна Борзобогатая, в которую мы тут все влюблены, за вашей милостью глазками стреляет. Ой, берегись, чтобы она тебя в дураках, как всех нас, не оставила.

Сказав это, Володыёвский повернулся на каблуках и ушел, повергнув пана Лонгина в недоумение. Тот сперва не отваживался и поглядеть в сторону Ануси, но спустя некоторое время, как бы невзначай глянув, прямо-таки оторопел. И в самом деле – из-за плеча княгини Гризельды пара горящих глазок глядела на него с любопытством и настойчивостью. «Араге, satanas!»<sup>41</sup> – подумал литвин и, покрывшись, как школяр, румянцем, ретировался в другой конец залы.

---

<sup>41</sup> «Отыди, Сатана!» (греч.)

Искушение, однако, было велико. Бесенок, выглядывавший из-за княгининой спины, являл собою такой соблазн, глазки так светло сияли, что пана Лонгина словно бы что-то толкало еще разок заглянуть в них. Но тут он вспомнил свой обет, взору его предстал Сорвиглавец, предок Стowejко Подбипятка, три отсеченные головы, и ужас охватил его. Он перекрестился и в тот вечер ни разу больше не глянул.

Зато утром следующего дня он пришел на квартиру к Скшетускому:

– Сударь наместник, а скоро ли мы выступаем? Не слышно ли, ваша милость, чего о баталии?

– Что за спех такой? Потерпи, сударь, еще ведь и в часть не записался.

И в самом деле, пан Подбипятка не был пока зачислен на место покойного Закревского. Надо было дожидаться, когда истечет квартал, что имело наступить лишь к первому апреля.

Тем не менее спех у него какой-то был, поэтому он расспросы продолжил:

– И никак светлейший князь насчет предмета этого не высказывался?

– Никак. Король вроде бы до конца дней своих не перестанет о войне думать, но Речь Посполитая ее не хочет.

– А в Чигирине поговаривали, что смута казацкая нам грозитя.

– Вижу я, зарок твой житья тебе не дает. Что же касается смуты, то ее до весны не будет, ибо хоть зима и теплая, но зима есть зима. Сейчас только пятнадцатое february<sup>42</sup>, в любой день морозы могут ударить, а казак в поле не пойдет, если окопаться не сможет, потому как за валом сражаются они превосходно, а в поле у них похуже получается.

– Значит, и казаков ждать придется?

– Однако прими во внимание и то, что даже если и найдешь ты во время бунта три подходящие головы, неизвестно, освободишься ли от зарока, ведь одно дело крыжак или турок, а другое дело свои, можно сказать, дети eiusdem matris<sup>43</sup>.

– О Боже праведный! Ой, ты ж мне, ваша милость, задачу задал! От беда-то! Так пускай же мне ксендз Муховецкий томления эти разрешит, а то не будет мне иначе ни минуты покою.

– Разрешит-то он разрешит, ибо человек ученый и в вере крепкий, да только наверняка ничего нового не скажет. Bellum civile<sup>44</sup> есть война братьев.

– А ежели смутьянам чужое войско на подмогу придет?

– Тогда действуй. А сейчас я могу посоветовать только одно: жди и сохраняй терпение.

Увы, вряд ли сам пан Скшетуский мог последовать своему совету. Его охватывала все большая тоска, ему наскучили и придворные празднества, и даже лица, прежде столь милые его сердцу. Господа Бодзинский, Ляссота и господин Розван Урсу наконец отбыли, и после их отъезда наступило полное затишье. Жизнь потекла однообразно. Князь был занят ревизией несметного имущества своего и каждое утро запирался с комиссарами, съезжавшимися со всей Руси и Сандомирского воеводства. Так что и учения происходили редко когда. Шумные офицерские пирушки, на которых только и было разговору что о будущих походах, несказанно наскучили Скшетускому, поэтому с нарезным ружьем на плече уходил он на берег Солоницы, где некогда Жолкевский столь беспощадно Наливайку, Лободу и Кремпского разгромил. Следы давней битвы стерлись уже и в памяти человеческой, и на месте самого сражения. Разве что иногда земля извергала из недр своих побелевшие кости да за рекою виднелся вал, насыпанный казаками, за которым так отчаянно оборонялись запорожцы Лободы и Наливайкова вольница. Но и на валу уже густо поднялись заросли. Здесь прятался Скшетуский от придворной суеты и, вместо того чтобы стрелять дичь, предавался воспоминаниям; здесь внутреннему

---

<sup>42</sup> Февраля (лат.).

<sup>43</sup> Той же самой матери (лат.).

<sup>44</sup> Гражданская война (лат.).

взору его души являлся вызываемый памятью и сердцем образ любимой; здесь, в туманах, в шуме камышовых зарослей и в унылой задумчивости округи, развеивал он тоску свою.

Но потом пошли обильные, предварявшие весну дожди. Солоница сделалась топью, из дому нельзя было и носа высунуть, так что наместник и того утешения, какое находил в одиноких прогулках, лишился. Между тем тревога его росла, и не без оснований. Сперва он полагал, что Курцевичиха с Еленой, если княгине удастся отослать Богуна, сразу же приедут в Лубны, но теперь и эта надежда угасла. От дождей испортились дороги, степь на несколько верст по обоим берегам Сулы стояла огромной непреодолимой трясинной, и оставалось ждать, когда весеннее жаркое солнце испарит влагу и сырость. Все это время Елена вынуждена была находиться под призором, которому Скшетуский не доверял, среди людей неотесанных, диких нравом и неприязненно настроенных к Скшетускому. Правда, ради собственного блага они не станут нарушать слово, так как выхода у них нету; но кто мог знать, что взбредет им в голову, на что они отважатся, а тем более под нажимом грозного атамана, которого, как видно, они и любили, и наверняка боялись. Он легко мог заставить их отдать девушку; подобные случаи были нередки. Именно так сотоварищ несчастного Наливайки Лобода в свое время заставил пани Поплинскую отдать ему в жены воспитанницу, хотя девушка была родовитой шляхтянкою и всей душой атамана ненавидела. А если то, что рассказывали о несметных богатствах Богуна, было правдой, мог он им и за девушку, и за потерю Разлогов заплатить. А потом что? «Потом, – думал пан Скшетуский, – мне глумливо сообщат, что „дело сделано“, а сами сбегут куда-нибудь в литовские или мазовецкие пущи, где до них даже могучая княжеская рука не достигнет». От подобных мыслей Скшетуского трясло как в лихорадке, он рвался, точно волк на цепи, сожалел, что связал себя рыцарским словом, и не знал, как поступить. А был он человеком, неохотно позволявшим случаю властвовать над собой. Натуре его свойственны были предприимчивость и энергичность. Он не ждал подношений от судьбы, но предпочитал брать судьбу за ворот, принуждая ее складываться счастливо, – так что было ему труднее, чем кому-либо другому, сидеть в Лубнах сложа руки.

И он решил действовать. Был у него в услужении Редзян, мелкопоместный шляхтич из Подлясья, шестнадцати лет, плут каких поискать, с которым никто из людей бывалых в сравнение идти не мог; его-то Скшетуский и решил послать к Елене, чтобы разнюхал что и как. Уже кончился февраль, дожди прекратились, март обещал быть погожим, и дороги должны были несколько подсохнуть. Так что Редзян готовился в путь. Скшетуский снабдил его письмом, бумагой, перьями и склянкой чернил, которые велел беречь пуще глаза, так как помнил, что этого товара в Разлогах не найти. Парнишке было велено, чтобы не открывался, от кого приехал, чтобы говорил, что в Чигирин направляется, а сам внимательно бы ко всему приглядывался и, главное, хорошенько разузнал бы все про Богуна – где, мол, тот находится и что подделывает. Редзяну дважды повторять было не надо, он сдвинул шапку набекрень, свистнул нагайкой и поехал.

Для пана Скшетуского потянулись долгие дни ожидания. Чтобы как-то убить время, он рубился и фехтовал на палках с паном Володыёвским, великим мастером этого дела, или метал в перстень джирит. Еще случилось в Лубнах происшествие, чуть не стоившее наместнику жизни. А было так: медведь, сорвавшись на замковом подворье с цепи, цапнул двух конюших, испугал лошадей пана комиссара Хлебовского, а потом кинулся на наместника, который как раз направлялся из цейхгауза к князю, будучи без сабли, а при себе имея только легкий чекан с медным оголовьем. Не избежать бы наместнику верной гибели, когда б не пан Лонгин, который, увидев из цейхгауза, что происходит, схватил свой Сорвиглавец и прибежал на помощь. Пан Лонгин безусловно оказался достойным потомком предка Стowejки, ибо на глазах у всего двора одним махом отхватил медведю башку вместе с лапой, каковому доказательству необычайной силы удивлялся из окна сам князь, пригласивший затем пана Лонгина в покои княгини, где Ануся Борзобогатая так искушала того своими глазками, что назавтра

литвин вынужден был пойти к исповеди, а в последующие три дня в замке не показывался, поскольку горячей молитвой отгонял все соблазны.

Прошло дней десять, а Редзян не возвращался. Наш пан Ян от ожидания сильно похудел и столь потемнел с лица, что Ануся пыталась даже разузнать через посредников, что с ним стряслось, а Карбони, доктор княжеский, прописал ему какое-то снадобье от меланхолии. Но иное снадобье было ему нужно, ибо день и ночь думал он о своей княжне, все отчетливее понимая, что не каким-то пустым чувством переполнено его сердце, а великою любовью, которая должна быть удовлетворена, иначе грудь человеческая, как хрупкий сосуд, разорваться может.

Легко себе представить радость пана Яна, когда в один прекрасный день спозаранку на его квартиру явился Редзян, перемазанный, усталый, исхудавший, но веселый и с написанною на лице доброй вестью. Наместник как вскочил с постели, так, подбежавши к нему, схватил его за плечи и воскликнул:

– Письма есть?

– Есть, пане. Вот они.

Наместник выхватил письмо и стал читать. Все эти долгие дни он сомневался, привезет ли ему даже при благоприятнейших обстоятельствах Редзян письмо, потому что не знал, умеет ли Елена писать. Украинный прекрасный пол ничему не учился, а Елена воспитывалась к тому же среди людей темных. Однако еще отец, вероятно, обучил ее этому искусству, ибо начертала она большое письмо на четырех страницах. Правда, не умея выразиться пышно и риторически, бедняжка написала от чистого сердца следующее:

«Уж я вас никогда не позабуду, скорее вы меня прежде, потому как слыхала я, что попадают между вас ветреники. Но раз ты пажика нарочно за столько миль прислал, то, видно, любя я тебе, как и ты мне, за что сердцем благодарным и благодарю. Не подумай тоже, сударь, что это будет противу скромности моей, так тебе об этой любви писать, но ведь лучше уж правду сказать, чем солгать или скрытничать, раз на самом деле в сердце другое. Выспрашивала я еще его милость Редзяна, что ты в Лубнах подельываешь и каковы великодворские обычаи, а когда он мне о красе и дородстве тамошних дам рассказывал, я прямо слезами от большой печали залилася...»

Тут наместник прервал чтение и спросил Редзяна:

– Что же это ты, дурень, рассказывал?

– Все как надо, пане! – ответил Редзян.

Наместник продолжал читать:

«...ибо куда мне, деревенской, равняться с ними. Но сказал мне еще пажик, что ты, ваша милость, ни на какую и глядеть не хочешь...»

– Вот это хорошо сказал! – заметил наместник.

Редзян, по правде говоря, не знал, о чем речь, так как наместник читал письмо не вслух, но сделал умное лицо и значительно кашлянул. Скшетуский же читал далее:

«...и сразу я утешилась, моля Бога, чтобы Он и далее тебя в таком благорасположении ко мне удерживал и обоих нас благословил, аминь. Я уж так по вашей милости соскучилась, как по отцу-матери, ведь мне, сироте, грустно на свете, но не с тобою, сударь... Бог видит, что сердце мое чисто, а простоту мою не осуждай, ты мне ее простить должен...»

Далее прелестная княжна сообщила, что выедут они с теткой в Лубны, как только дороги станут получше, и что сама княгиня хочет отъезд ускорить, поскольку из Чигирина доходят вести о каких-то казацких смутах, так что она ждет лишь возвращения молодых князей, которые в Богуслав на конскую ярмарку поехали.

«Ты колдун прямо настоящий, – писала далее Елена, – раз даже и тетку на свою сторону привлечь сумел...»

Наместник усмехнулся, вспомнив колдовство, склонившее на его сторону эту самую тетку. А письмо кончалось уверениями в вечной и верной любви, какую будущая жена к будущему мужу питать обязана, и видно было, что писалось оно действительно от чистого сердца, поэтому, наверно, наместник читал письмо от начала и до конца раз десять, повторяя в глубине души: «Дёвица моя ненаглядная! Пускай же и Господь меня покинет, ежели я оставлю тебя когда-нибудь».

Потом стал он расспрашивать Редзяна.

Бойкий слуга сделал подробный отчет о поездке. Принимали его учтиво. Старая княгиня выпрашивала его про наместника, а узнавши, что Скшетуский – рыцарь первейший и доверенный у князя, да к тому же и человек состоятельный, вовсе обрадовалась.

– Она меня еще спрашивала, – сказал Редзян, – всегда ли его милость слово держит, если что обещает, а я ей на это: «Милостивая государыня! Ежели бы этот конек, на котором я приехал, был бы мне обещан, я б не сомневался, что он моим будет...»

– Ай, плут! – сказал наместник. – Но раз уж ты так за меня поручился, можешь конем владеть. Значит, ты не выдавал себя за другого, а сразу открылся, что от меня?

– Открылся, увидев, что можно, и сразу меня еще лучше приняли, а особенно панна, которая столь прелестная, что другой такой на всем свете не сыщешь. Как узнала, что я от вашей милости приехал, так прямо и не знала, где меня посадить, и, ежели бы не пост, катался бы я как сыр в масле. А когда читала письмо, то слезами счастливыми его обливала.

Наместник от радости перезабыл все слова и только спустя некоторое время спросил:

– Про Богуна ничего не узнал?

– Неудобно мне было у барышни или у барыни про то спрашивать, но я коротко сошелся со старым татаринном Чехлой, который хоть и басурман, но слуга барышне верный. Он мне рассказал, что сперва все они досадовали на вашу милость, и очень, но потом образумились, особливо когда сделалось известно, что разговоры про Богуновы сокровища – басни.

– Каким же образом они это узнали?

– А оно, ваша милость, случилось вот как: была у них тяжба с Сивинскими, по каковой обязались они потом деньги выплатить. Как пришел срок, они к Богуну: «Займи!» А он на это: «Добра турецкого, говорит, малость имею, но сокровищ никаких, что имел, говорит, все рас-транжирил». Как услышали они такое, сразу стал он для них поплоше, и сразу расположились они к вашей милости.

– Ничего не скажешь, досконально ты все разведал.

– Мой любезный сударь, ежели бы я про одно узнал, а про другое нет, тогда бы ваша милость мог мне сказать: «Коня ты мне подарил, да арчак не дал». А что вашей милости в коне без арчака?

– Ну, так бери же и арчак.

– Покорнейше благодарю вашу милость. Тут они Богуна в Переяслав и отправили, а я, едва про то узнал, подумал: а почему бы и мне в Переяслав не податься? Будет мною хозяин доволен, меня и в полк скорее запишут...

– Запишут, запишут тебя с нового квартала. Значит, ты и в Переяславе побывал?

– Побывал. Но Богуна не нашел. Старый полковник Лобода болен. Говорят, что вскорости Богун после него полковником станет... Однако там дивные дела какие-то творятся. Казаков горстка всего в хоругви осталась – остальные, сказывают, за Богуном пошли или же на Сечь сбежали, и это, мой сударь, дело важное, потому что там смута какая-то затевается. Я и так и этак пытался хоть что про Богуна узнать, но сказали мне всего только, что он на русский берег<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Правый берег Днепра называли русским, левый – татарским. (Примеч. автора.)

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.